

*Владимир Гандельсман*



*ТАМ НА НЕБЕ*

*ДОМ*





*Владимир Гандельсман*

ТАМ НА НЕБЕ  
ДОМ

РОМАН В СТИХАХ

ЭРМИТАЖ

1993

Владимир Гандельсман

ТАМ НА НЕВЕ ДОМ  
Роман в стихах

Vladimir Gandelsman

*TAM NA NEVE DOM*  
*(There is a House on the Neva.*  
A novel-poem)

Copyright © 1993 by V. Gandelsman

All rights reserved

### Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Gandel'sman, Vladimir, 1948-

Tam na Neve dom : roman v stikhakh / Vladimir Gandel'sman.  
p. cm.

Title on verso t.p.: There is a house on the Neva.

Romanized record.

ISBN 1-55779-051-5 : \$9.00

I. Title. II. Title: There is a house on the Neva.

PG3481.A458T36 1993

891.7'44--dc20

92-42336

CIP

Cover design by Ira Waldron

Published by Hermitage Publishers  
P. O. Box 410  
Tenafly, N.J. 07670, U.S.A.

Tel. (201) 894-8247

**GANDELSMAN, Vladimir. *TAM NA NEVE DOM***

*(There is a House on the Neva. A novel-poem, 120 pp.)*

"The well of childhood is a well of tears / artesian, flowing from nowhere, / upon the snow, upon the frozen vines, / upon the expectation of the Christmas tree miracle." Maturing in the city on the banks of the Neva has been depicted by the poet with the same "intensity of spiritual energy" [J. Brodsky] which was characteristic of his first collection of poems *The Sound of the Earth*. In accordance with the Russian tradition, the digressions in this novel are so powerful that a reader might forget the main story. "What is all this about," he would ask. "About the City," the poet is answering. "About the one glorified in poetry so many times. . . ."

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Первая глава .....	7
Вторая глава .....	35
Третья глава .....	55
Четвертая глава .....	75
Пятая глава .....	97
Шестая глава .....	117

## ПЕРВАЯ ГЛАВА

...истинно говорю вам, если не обратитесь  
и не будете как дети, не войдете в Царство  
Небесное;

*от Матфея, гл. 18, 3*



Сон о пластинке, пастила, душа плаксива, осипла, полночь у стола ее скосила. Сон о пластинке по челу. Болезнь желанна. На чердаки свои лечу, в свои чуланы — там абажур, истлевший в прах, и лампа-филин, и чахнет детский хлам в чехлах, и я всемогущ.

Часы, туманность Андромеды, слова, как мозг, воспалены, компрессы снега, нега, сны, ангина, привкус меда.

Рука папы просунута под одеяло — мгновенная прохлада, тут же обнятая жаром. Она давняя, знаю ее очень давно. Вертишься около, вокруг руки, пятка незаметно ни для кого достигает холодноватой воли. Теперь — все.

Перебираешь пальцы, отводишь их в сторону от мизинца до большого; загнув в кулак, приставляешь его к животу и — отпускаешь. Рука сильно прижата. Чувствуешь ее всю.

Переносишь тяжелую руку на лицо, ладонь слегка влажная, носом и губами вминаешься в нее, но ненадолго. Дышать трудно — убираешь. Глубокий вдох, вытянув шею и доставая родниковый воздух. Рука — как прилипший кленовый лист — распластана между ключицами. Устал, шурюсь на малиновое, теперь без движения, только играю с малиновым, шурясь. Тело расслаблено, и я успокаиваюсь, и снегом засыпаемый тихо засыпаю паинька паинька баюшки баю звезды сыплю по небу в сон впасть понято не понято спи всласть.

Но уже с настоящим снегом. Рука мамы не такая теплая, потому что на улице. Она бела, пахнет глицерином, молода. Знаю, что меня ждет. Урок музыки и — после урока. Сначала ужас, в нем смешаны жалость и нежность (ко всему), потом — счастье, сплошное, состоящее из самого себя.

И вот ступаешь по снегу, держась за руку. Ступая, наслаждаешься податливостью его, под ногой он не рассыпается, а упруго уступает. Коротко мурлычет. Он обязательно идет, снег, и — вечером. Все это происходит в пятницу, и не идет, а с неба пятится. Снежинки-воздушные гимнасты захлестнуты ритмом улицы и, свиваясь, взмывают вверх.

За одной из них слежу и загадываю, что успею доследить ее падение, успею, не замедляя шага, и если успею, то что-то случится, а что — не придумать. Она резко оставляет меня

слева, оглядываюсь и так иду, хватаясь за руку сильнее, чтобы не отстать. И пока фон стены темен, все со мной и со мной, и вдруг тонет в белом рукоплескании витрины.

Снова иду, теперь вдоль железной ограды, за которой сад. Он в редком огне, един, красив — некая зимняя элегия. Ограда, ограда, пытаюсь свободной рукой вести по каждому пруту, но рука отстает, мерзнет. В карман. И тут — стена, сплошная стена дома, ни окна, и ее расщепляет, как трещина, дерево. Я узнаю, что уже скоро, что скоро уже, скоро, и наступает волнение.

Волнуясь, ты передаешь руке, которую сжал, всю тревогу. Уже пахнет кислыми кошками и серые под ногами пятна. Серые с белым. Теперь два шага, три — ровных, и в затылок сбегаются мурашки с предплечий и со спины. Темные, красные, полированные, красные, темные пятна. Под подбородком щекотный шнурок. Не развязать. Все. Теперь уж неизвестно, что будет, как освободить себя, свою душу. Невыводимый запах нафталина — обновляющей себя старости. Белый слон, белый слон, он напрасен, белый слон. Сейчас не рассмешить. Белый слон расплывается, и мертвая танцовщица поплыла вместе с полкой. И ты подступаешь к черному роялю, и...

Не выплакаться и не успокоиться, до самой своей улицы, до запаха бубликов с маком, только выпеченных, на снегу запаха, сводящего с ума — он заглушает безутешное горе.

Челнок-чернильница плыла, ко сну клонилось стило, на поле в полстола они простились.

И душу выставит холеную зима полотнами холодными, и околдует стеклодув природы сумрачной — пространство, и наступит утро. Оно так невыясненно дополнено мной — черное утро.

Расчетливый эстамп мертворожденный.

Тогда я подхожу к замку на сарае, к заиндевевшему и примерзшему наискось, и перебрасываю его на другую сторону. Чтобы опровергнуть расчет. Никто не думал, что я это сделаю, тем лучше. Теперь я зацеплю ветку и одновременно ударю портфелем и мешочком с тапочками по забору, и еще раз, и еще раз. Но вот чего никто не предполагает — я могу вернуться на двадцать шагов назад и проделать все снова. ...девятнадцать, двадцать. Пшено.

Дело было решено и поставлена печать дело снова начинать. Это утро походит на отчетливый сон, но даже отчетливый сон холодный дает призрачный аванс пробуждения и тепла. Не сейчас. Сейчас неуютен и ход мысли. Он ни к чему не приводит. Мое хмурое упорство никак не вознаграждено. Это утро — изваяние неустройства всего мира. Изваяние. Оцепенелое пространство. Надо бежать, и — чего проще? Но ведь ход мысли ни к чему не приводит, и об этом не забыть. Мысль буксует, она не может преодолеть заслона из мерных скребок лопаты. Они заравнивают прорыв.

Плетешься, отупевшая мысль о том, что несуразен белый с синевой свет окон в раздевалке. Его не должно быть, все спит, а этот свет даже не бессонница, а притворство. Это бельма, притворяющиеся зрачками, наглая нелепость.

В раздевалке я привожу себя в возбуждение. Оно неправдоподобно. Конвульсивно сдергиваю с себя форму. В затылке гудит сон и от этого зрение — только яркое и поверхностное. Нежилой зал, в нем все блестит: пол, шведская стенка, баскетбольные щиты. Запах спортивного инвентаря. Я начинаю бегать по залу, забираюсь на стенку, спрыгиваю и снова бегу — сгоняю мурашки...

Через час, разгоряченный и потный, и насильно пробужден. Это уже другая неустроенность, вошедшая в ритм, будто глотаешь пирог большими кусками, не успевая распробовать и не в силах умерить голод и сделать его разумным. Горячую спину шершавит гимнастерка и шею шершавит. Воротничок намокает и грязнеет.

Ты угнетен, никто не знает, как ты угнетен, как подавлен и неподвижен — размахиваешь портфелем. И когда через ступеньку взбираешься по лестнице, гимнастерка выдергивается из-под ремня, и он, холодный, прилипает к голому телу. Теперь спина сравнивает колючий кошмар шерсти и гладкий холод кожи. Нянечка с вылинявшими глазами, под цвет лестницы, заметна только потом, запаздывающим зрением. Ты бросаешься за парту и проезжаешь по сидению на свою сторону, ближе к проходу, замираешь, и тут за ухом скатывается крупная капля пота остывающая. Теперь надо не шевелиться. Тело остывает, становится холодным и липким, как изоляционная лента. Чайник кипятка на затылок, полный чайник на мой многострадальный невополнимый затылок!

Я думаю, что так я и знал. Меня бросает в жар от моей фамилии — звучит. В это мгновение шея и спина вновь осквернены гимнастеркой. Я думаю, что так я и знал, и с каждым разом, когда я так думаю, становится жарче и жарче. Надо вспомнить начало, и «надо вспомнить начало» затверживается в голове и больше ничего. Нудная ломота...

В саях, укутанный в шубу, и снова мягкая зима субботняя. Все черно. Лежишь, и бежит снег вдоль полозьев, голова тихо кружится, небо, снежинки падают прямо в глаза, на них твоя надежда, вся надежда на них...

Глаза режет, ком в горле не проглотить. Глотаешь, глотаешь, никак. Если это пирог с капустой, то капуста сейчас посыпется на паркет, или — с повидлом, и руки так и будут липнуть до вечера. И тут вспоминаешь про руку, про любимую руку под одеялом — ком в горле сразу проходит, тело ослабевает, становится безразличным к гимнастерке, оно все отдано плачу, его содрогающейся свободе.

Днем, по снегу, залитому солнцем, напрасно залитому. Он угреватый от гари. Им владеет полуденная лень, он некрасивый и во главе со мной — зачем же так залит? С ноги сполз шерстяной носок и из-под брючины выпал дохлой гармошкой. Ты разбит наголову, болит от обиды горло. От нанесенной тебе обиды. За что? У самой парадной ты вспоминаешь. Мороз и солнце, день ... (открываю дверь) ... день ... (вторую дверь) ... день ... (хлоп) ... За что?

Весной — объятный воздух. Вдох и взмах. Весной, в тщательном матросском костюмчике, отмытый, в белых гольфах. Весной, в мае, в ожидании лакомой прогулки. Весной дышишь так, что чувствуешь продолжительность жизни и ее нескончаемость — столь светло и в таком начале она. Весной, в саду, теплом от запаха верб, в трепетном саду. Разрываемый этим запахом, ты чудом степенен. В тебе, как в стеклянном колодце, колеблется синева неба, и грудь дрожит, как мембрана. Чувство собственного достоинства — непосильная ноша весной в саду. И вот ты выступаешь под окнами, за которыми начинается воскресная кухонная возня. По кромке тротуара. Независимо. Независимо прогуливаешь себя. Чтоб никто не догадался. Искоса. И совсем уж искоса — вниз: не наступая на стыки поребрика. Идешь.

Свежие газоны, земля ярая, вспоротая, пахучая земля весны. Благо такое, что не может быть выражено — оно об этом и не помышляет — беспечное благо. Рано. Умыто. Обещанный праздник прогулки неизбежен.

Другой день. Солнце с пылью клубились из глубины гостиной до коридора. Из глубины гостиной пыль была как золото распила, плыло пространство, тихо было, мультипликационно пил ленивый кот-домохозяин, и, обалдев, под потолком зудела муха, и в таком млении были стрекозиные стрелки ходиков — крылья мельницы, разморенные зноем. Запах щей. Щи в обмороке. В такой день ты уходил на свой попятный двор; забившись в угол, отыскивал стеклянную красавицу. Ты был в предчувствии неясного полусчастливого томления. На ковре в темном углу ты ее трогал, стеклянную красавицу из-под духов. Нездоровое воображение блуждало по смутным закоулкам памяти, которой не могло быть. Это была доначальная память и томливое слабоумие.

Другое. Был день похож на решето, в муке и фартуке прислуги, ни то, ни это, ни про что, на тонком уровне разлуки. Дрожал на кухне блеклый куб, дышали жабры, коридора темнел в дверях тяжелый круп, перебирала бусы ссора. Не зная, чем себя занять, дыханье высилось и никло, и сквозь рассеянность в глаза текли какие-нибудь иглы. Варилось в собственном соку весь день неясное волнение, как будто тень без утоленья тянуло время по песку.

Послешкольные в чернильных пятнах руки.

Вновь другое. Летний и скучный день похож на жаркую зевоту собаки. Полдень. Чуть позже придет поливочная машина, и я побегу перед ней, немного радуясь. Она расчесет, выпустив прозрачные когти, свалывшуюся траву и уедет. А я останусь. Останусь я, сорву шиповник. Просыпая белые зернышки его, двинусь в путь долгий и утомимый. Ни мысли в нем, и в желтой слепоте, венки из одуванчиков сплетая, в саду сонливым ангелом плутая, как отраженье в мраморной плите...

Больше всего боишься смерти папы. Эта боязнь определяет все твои поступки. Это причина постоянной то ли жалости, то ли обиды. Расплывчатая слезливость и ломота в горле.

Руки, которые были в шиповничьем ворсе, и опаршивленное ими тело — ныне белее белого. И все твоё — от невозможного.

К босым ступням проселочной дороги прилив, прилавок груш, неизреченность как будто свежескошенной реки.

Ни осады осиною, спят шмели в джемперах, и дрожит над росинкой летних сумерек прах. Мир так тих и просторен, что в его тишине слышно маковых зерен созревание во сне. Щелкнут ставни затвором, и окно, отворясь, задохнется простором — и проникнет, как будто просветляясь на лету, утонченное утро в июньском цвету, и еще не обнимет, но, скользнув по лицу, как капустаница, снимет с век дрожащих пыльцу.

И вот прилив песка к босым ступням, как если бы пролился шелк из складок ночной земли, жасмин, прохладно-сладок, то шевельнется здесь листвою, то там. Вдоль полотна, вся в блесках слюдяных, дорога, и лапта босого солнца, и день, разгорячась, уже несется, и вдруг — река из лилий ледяных. А в полдень тины сонный серпантин, мостки, полузатопленные ленью, и ход реки по-щучьему веленью так неприметен и необратим.

Разламывает лес, он тонет в хвойном стоне и манит, монотонен, из паутинных леск; размерен, разморен, разменян темной медью, и сосны как столетья, и как эпоха он. Ни звука. Скрылся Лель. И, солнцем залитая, качается пустая качель, качель, качель.

Под вечер — стада хмурое упорство, разматывают головы коровы вдоль улочки из ревеня и рева и еле разбредаются. Все просто. Расслабленный, ссылающийся словно на завтра — молока парного запах, округлый и сплошной, на теплых лапах, и плавно оседающий на бревна...

Не торопиться. К шапочным разборам не поздно никогда. Не торопиться. Пока весь мир един и не дробится, и миг не разворован разговором.

Дверь нашарь за Черниговом, спичкой чиркни,  
там начнется твое посвященье,  
где вокзальный плеврит, кочегары черны,  
вороватая глушь и свеченье

белотелых, теряющих контуры хат,  
где летучие ветхие мыши  
на рассвете крушение крыл обратят  
в паутину под крышей,

дверь нашарь за далеким дыханьем степей,  
в этой черной норе разгребая  
жар золы, этот воздух, который темней  
с каждым часом, где, перебивая

тяжкий ритм шатуна, — белострочье реки —  
отголоском любви и свободы —  
среди груды горячих углей, кочерги,  
привокзальной тоски небосвода,

отвори эту дверь, ты за ней родился,  
будь так добр или нежен, не знаю,  
что-то сделай, не знаю, так больше нельзя,  
говори, говори...

Вечер серый, как представление о мышах, вкрадчивый вечер.  
Вокзал с ночной пересадкой в Гомеле, духота, которая у  
дверей на улицу разрывается, и за деревянным заборчиком в  
привокзальном сквере из бутылочных осколков, огней, топо-  
линого острого вкуса — не собрать города.

Рисунок духоты томится на тусклой и масляной бумаге из-  
под пирожков.

В этой маятности света, на скамейках с облезлым лаком  
шевелиются люди. Они говорят себе: «Не здесь. Не это.»

Больное воображение города, вокзал.

Что моя жизнь ему, но он родился в муках, в дешевых пере-  
стуках, в рыданиях, в дыму во мне, он мне иной, с двуствор-  
чатую битвой дверей, прижмусь к небритой его щеке родной.

Банно-прачечные румяны. Квартира распаренная, теплая,  
духовитая, с сердцем в коридоре. Здесь запотевшее зеркало —  
legato отраженного ритма. Здесь комод красного дерева с  
тяжелыми ящиками — наполнены великолепным тряпьем.  
Можно погрузиться в его склеротическую память. Распото-  
шенное движение: кофты, брюки, шарфы, разрозненные  
перчатки и рукавицы, из которых тянули зубами шерстяную

нитку на катке. И крепдешин, черная моль, прах родительской молодости. Банный вечер развалился в трех комнатах, дышит теплой влагой. Дыхание медленное, розовое. Вечер. Он позволяет себя. Своей уступчивостью, нежностью тебя облюбовал этот дом, и ты платишь ему тем же.

В комнате есть холодное прикосновение к кожаному валику дивана (тем более — сейчас, из жары), или к голубому шелку (как глоток льда) подушки. Перед тобой шпалера в длину. Какой-то пригород с иностранным акцентом — итальянским? — пригород в дымке. Цвета кофе со сгущенным молоком, в черную крапинку. Жалостливая мелодия — еле уловимая, как для глаз доносящийся запах лука, — исходит вся материей. Предложенное пространство. Жалостливость — от ман- долины и еще более — от хромоногого (чистый вымысел) мальчика, играющего на ней. Едва слышно он играет на вечерней набережной. Тихий и съедобный воздух, каждое движение оставляет в нем медленно убывающий след.

Такой же след убывает на Украине, постепенно утрачивающей меня. Утрата бестелесна, как воспоминание, в котором восполнена. Хромой мальчик — оттуда. Вот он, замахиваясь перед крыльцом своей палкой, припадая на правую ногу, вопрошает: «Бить? Или не бить?» Соседи и родственники благосклонно смеются. Бить. Или не бить. Удар палкой по воздуху, снова разбег и снова — по воздуху.

Убывающий след. Почти уже в сон доносится набережная. Левее, в зарослях акации, теплится эхо твоего дома, пульсирующее, негасимое.

Ты проваливаешься в бездну раздвоенного бытия — замирание, два «я» смотрят друг на друга. И тебе, соединяющему обоих, как будто удалили горло. Это чистое присутствие здесь, там и вне времени. Освобождение духа как письмо без нажима.

И вот — нажим — банный взволнованный вечер. Меня зовут. Я не должен нарушать удобства и благополучия, созданных общими усилиями. Потворствовать им — принцип желанной слабости.

Купание, фланелевая пижама, чай с бубликами. Все внимание — папа, мама, сестры — к тебе. Уже белье с номерками на углах собрано, уже постелено крахмальное, и горит настольная в дальней комнате лампа.



1.

Тот город, по которому бродил,  
выуживал по строчке из сумбура  
и все равно себя не находил, —

знакомая душе клавиатура.  
Я мог бы перебрать ее, изволь:  
ночной проспект, печальная фигура,

фонарный свет с оттенком си бемоль,  
и мой подъезд, и что-нибудь такое,  
чему отведена сегодня роль

быть муз меланхолической сестрою  
(звучит как «механической»). Увы,  
сие ведет к известному настрою,

но не к тебе, воспитанник Невы,  
которого романом беспокою  
и заверяю: все из головы.

2.

О городе. О городе... Ему,  
воспетому в стихах неоднократно,  
твои терцины, право, ни к чему.

Намек на Ад? Зачем же так превратно.  
На Пушкина? Но в чем тогда намек?  
Мне просто побеседовать приятно.

Там будет видно, есть ли в этом прок.  
Мне с ним легко. Спокойны изваянья  
мостов на Стрелке, взятых между строк

и словно образующих зиянье,  
здесь «жданов» приобщает плоский лик  
к Дворцу (на благородном расстоянье,

а то еще, гляди, случится стык),  
здесь я стою, и мирозерцанье  
склоняет к пустозвонству мой язык.

### 3.

Начнем с двора. Мы тоже из дворян  
отечественных и послевоенных.  
Хоть нас крестил, как водится, тиран,

но двор был из дворов благословенных,  
что явно не входило в общий план  
по производству ценностей нетленных...

Повсюду дров намокших штабеля,  
коптит, расштукатурясь, кочегарка,  
вокруг нее оттаяла земля.

Прогулка. Голове под шапкой жарко.  
Снег сладко-липкий. Около нуля.  
И дворничиха, старая татарка,

из прачечной несет мешок белья.  
Ее сережки вспыхивают ярко,  
как вдруг растормошенная зола.

### 4.

Колодец детства есть колодец слез  
артезианских, взятых ниоткуда —  
на снег, на прозябанье дольных лоз,

на ожиданье елочного чуда.  
Глаза ли режет яркость этих мест...  
Ночная тишь. Скользнул в подъезд иуда.

Из черного и желтого подъезд.  
О двор мой, привыкающий ночами  
к каплановскому выводу невест

с какими-то печальными плечами,  
с ключицами — навывпачь — два весла,  
с огромными — за тюлевым — очами.

Ночная тишь. Проугленная мгла.  
И фонари с паучьими лучами,  
ползущими по краешку стола.

## 5.

Как слово «бытие» заострено  
в последнем слогe! Словно бы иголка.  
В нем «бы» — ушко, открытое окно,

в него продет жасмин, как нитка шелка,  
или — суровой ниткою — зима,  
(весна слюнявит пальцы втихомолку),

в него слетает осень — бахрома  
с периметра хрустального осколка.  
Метафора — зарядка для ума.

С житейской стороны в ней мало толка,  
но я не равнодушен к ней весьма,  
как прочий полк поэтов (ныне — полка,

и интереса к этому нема...  
О с золотым тиснением, как пчелка,  
поэта вожденная тюрьма!)

## 6.

Декабрьский смеркающийся сад —  
в нем воздух лягушачьих перепонок,  
в нем дробный переговорень дриад.

Прогулка. Подпоясанный ребенок  
рассматривает данный препарат —  
из связок лип и мякоти потемок.

В его зрачках колеблем перепад  
от вещества извне к своим пустотам  
нетронутым, где атомы так спят,

как спится перед тактом ц е л ы м нотам  
(которым снится — что? фруктовый пат;  
ибо рояль находится под гнетом

не столько мыслей Черни, сколько ваз...  
Позволим мне бессмыслицу, чего там...  
Тем более, что это не про нас...)

7.

Рояль кормил полуденную лень  
засахаренным — с ложечки — вареньем,  
на пресыщенье — мерное трень-брень,

как бунинская сыть стихотворенья.  
Язык аккордов, труден и коряв,  
мусолил заскорюзлые коренья

на ниве колосящихся октав.  
Клубилась пыль от форточки до пола,  
в ней, золотые зерна перебрав,

брела ко сну старуха-баркарола...  
Без Моцарта в мозгах — как тяжело...  
И марципан в награду — ну и школа...

Как хорошо, что все это прошло  
со скоростью дворового футбола,  
и — вдребезги оконное стекло!

8.

Благословенье дому. Вопреки  
гитабору годов шестидесятых  
с медвежьими услугами тайги

и бормотаньем бардов бородастых...  
Входных дверей тяжелые крюки,  
глухое «кто» хозяев виноватых,

на антресолях пыльные тюки  
(здесь пыль седьмой строфы как бы в солдатах),  
обои, абажуры, утюги...

(Утюг — один. Ах, строк витиеватых  
не удержать. До правды ли строки?  
Пристрастие царит в родных пенатах.

Его права куда как велики.  
А реализм — достоинство в заплатах.  
Поэтому и врем про утюги).

9.

Благословенье дому и семье  
с тремя детьми, с подпиской на Флобера,  
на Мопассана, Шолохова Ме,

на авторов «Муму» и «Пионера»,  
на Пушкина, Толстого, Мериме...  
Благополучье в доме офицера.

Любовь и мир, и все в своем уме.  
Не соль интеллигенции, но в меру...  
С придавленным слушком о Колыме...

.....  
.....  
.....  
  
.....  
.....  
.....\*

---

\* — пропущенные строфы — подражание Ахматовой (смотри примечание 21 к «Поэме без героя»;

10.

Зима. Декабрь. Елочный базар.  
Игольчатого запаха атака  
на граждан, запрудивших тротуар,

уверенных в могуществе дензнака.  
Над площадью горит янтарный шар  
луны (для Сирано де Бержерака).

А там — людское море, театр, пар,  
разъезд распотрошенных шуб, улыбок,  
расцветок, что сберег нам антиквар

и бутафор аквариумных рыбок.  
Зеленый пыл. Младенчество. Мороз.  
Готический базар царапит воздух.

Саней полозья. Шарфа жаркий ворс.  
Открыточное небо. Напрочь — в звездах...  
Домой, домой, покуда не замерз!

11.

Домой, домой, рождаясь на лету.  
Подобинки Иглы Адмиралтейства —  
снежинок иглы, целящих в пяту

влекущему домой отцу семейства —  
от площади по Кировскому — ель.  
Саней полозья. Пыл. Священнодействие.

Благословенье дому. Канитель.  
Липучий ствол. Примерка к крестовине.  
Не ящик, но сверкающий отель

из елочных игрушек в серпантине  
(спроваженные в мягкую постель,  
они сидели год на карантине),

и блеск сосуллек, скрученных, как трель,  
и блеск шаров, как холод в мандарине,  
и в этом блеске вспышка буквы «эль»!

12.

Смесь запахов, языческий разгул,  
лоснящийся, вареный запах куры,  
духовки синезубой жаркий гул

(шарадофил, привет от синекуры),  
тарелки студня стыннут на окне  
и небо передразнивают, дуры.

Наполеон на медленном огне  
доходит до известного позора,  
чуть подгорев, стать пищей. Клод Моне.

Рассыпчатость Руанского собора.  
Вот главное событие — салат,  
пока он из разрозненного сора,

но скоро это все соединят —  
тогда под абажур прошу, обжора,  
да прихвати на кухне лимонад.

13.

Особенная область — рыба фиш,  
ее приготовление — эпоха,  
которую не сразу усыпишь.

Ей долго перед этим очень плохо.  
Она под жабры вглатывает тишь  
все менее пригодную для вдоха.

Уснула. Нет. Все вздрагивает. Ишь,  
слезливые глаза свои таращит.  
Младенческое горе. Спи, малыш.

Авось — и до утра его растащат.  
Все выветрится к черту до утра.  
Конечно. Да об этом же не плачут.

Не спится, няня. Деточка, пора.  
Что там, на кухне? Господи, судачат,  
или зубрит «Онегина» сестра.

14.

В лесу родилась елочка, в лесу  
она росла, из некоего бора  
с кастрюлями (о, как произнесу?)

шла, ковыляла некая Федора;  
два лодыря, собравшись на урок,  
попали на каток, и в ту же пору

мой дядя не на шутку занемог;  
из маминной из спальни выбегая,  
кричал тот тип, который кривоног,

из некоего северного края  
все жаждали уехать Чук и Гек,  
но девочка разыскивала Кая —

он для нее был близкий человек,  
и я ее немного понимаю,  
из мерзлоты вытаивая век.

15.

Вот комната. Вот в ней мурлычет март.  
Вот время после пятого урока.  
Вот контурных бескровный ворох карт.

Вот город имярек — двойное око.  
В нем развита промышленность. Он порт.  
Вот «о» зевает трижды: одиноко.



Вот юноша-поэт. Он этим горд.  
(Период полового созревания —  
с кем это не бывало? — третий сорт).

Вот нитка на ковре. Вот вышиванье,  
которое состарилось к утру,  
грустит себе на кожаном диване.

Ему бормочет кот свою муру,  
муру, муру... Довольно. Ибо я не  
ручаюсь, что от скуки не умру.

## 16.

Здесь повторить бы опус номер семь —  
он шел, опережая ход событий...  
Пожалуй повторил бы... Но зачем?

Перечитайте и соедините.  
А нам обрыдла эта маята.  
(Я хлопнул крышкой «Дидерихс». Простите).

Любовь благодарите. В пятом «а»,  
естественно, весеннюю порою  
прекрасная Елена расцвела,

придясь по вкусу нашему герою.  
Заняв на перемене два угла,  
пока дебилы заняты игрою,

они встречались взглядами, их жгла  
стыдливость, или что-нибудь другое,  
не знаю. У меня свои дела.

## 17.

О бобочке о шелковой — весной.  
Хоть прекращай роман. И в самом деле,  
прерви его, но бобочку воспой.

Такой невыносимый праздник в теле  
(я о душе уже не говорю),  
что держится душа в нем еле-еле.

Чей день рожденья? Что ей подарю?  
Конфеты ли, игру, альбом для марок...  
(все от стыда, в дверях топчась, сгорю,

как тот юнец, который не подарок...  
но это позже, вечером) Сейчас —  
в шелку, на близлежащих тротуарах —

я принц двора, я детка напоказ  
(не то что те, в песке и в шароварах),  
я исполняю маменькин наказ.

## 18.

Но этот трепет ровень со флажком,  
со знаменем, что бьется у подъезда  
в гранитный барельеф с большевиком,

который тоже бьется в знак протеста,  
увы, с увековеченным врагом —  
застыли оба; намертво; ни с места; —

но этот трепет — как он мне знаком!  
До «Молокосоюза» путь чудесный,  
и этот холод, снятый языком

с мороженого — замерший, отвесный,  
и путь назад — в ладошке с пятаком,  
и ветер прохладительный и лестный,

и лестница, где пахнет чердаком,  
распахнутым на крышу — этот местный,  
но — колорит, которым я влеком.

19.

.....

20.

...и плакать. Плачь, румяный пионер,  
оставленный на час после занятий  
за то, что (пионерам не в пример)

ты Панину склонил к стыду объятий.  
Решай, решай задачу про бассейн.  
Кошмар алгебраических понятий,

сплошной кошмар, тем более, что все  
гоняют мяч, тем более, что Хлое  
присуще — а точнее ее красе —

нас подстрекать на самое плохое —  
на первенство. А Хлоя заплела  
свои косички, вынесла помои

и скачет во дворе, и так мила,  
что надобно быть лучшим. Нет покоя.  
Такие непотребные дела.

21.

Невпроворот. Где действие? Где — что?  
О, не спешите. Мне важны картины  
и ощущение прошлого. Их сто,

а я не выдал даже половины.  
Доскажут ли их? Кто? Иван Пехто.  
И в этом вы да будете повинны!

Герой и я — два разные лица.  
Мне задний план чуть позже уготован,  
ему — сейчас. Не мог же я с конца

начать роман... Я бросил бы... Но скован  
движением прихотливого резца,  
чей ход неотвратим... хоть и условен,

и на примере пятого кольца  
показываю: с тем, чтоб стих был ровен,  
я вынужден в конце поставить «ца».

## 22.

Пушнина вербы. Медленный нагрев.  
Дзержинский сад открыт после просушки.  
Медитативный рост его дерев

и зиму пережившие старушки.  
Вдоль по Неве — рубанок катерка,  
и вслед за ним — блистающие стружки,

и над прудом срывается с крючка  
серебряная жизнечка колюшки.  
Дыхание — примерка башмачка,

и зелень соискательниц — пастушки —  
в обличье трав — бегут на шармачка,  
куда попало, вроссыпь, друг за дружкой.

Ни облачка на небе, ни клочка,  
в жаровне выпекаются веснушки  
в расчете на Ивана-дурачка.

## 23.

Вот эти годы — воздух, беготня,  
по вечерам — душа, сентиментальность,  
безделие за книжкою, родня

и общая печальная тональность.  
В такие вечера — день ото дня  
все более — брала меня реальность

и вытесняла, в сущности, меня.  
Физически я слышал дуновенье,  
с которым уходила часть огня,

волнения, свободы, вдохновенья,  
чтоб изредка отныне навещать  
свои края... И миг соединенья

не потому ли больно узнавать:  
весь этот рай распался на мгновенья,  
которые немислимо собрать.

## 24.

Реальность чувств не трудно описать,  
но вот реальность, вызвавшую чувства,  
куда трудней. А надо пояснять,

чтобы питать изящное искусство.  
Как мы росли? Родителям под стать.  
Как именно? Оглянешься — там пусто,

и я не знаю что вам рассказать.  
В те годы безрельфные мне было  
так хорошо и бодрствовать, и спать,

что ничего в них не происходило,  
что бы могло историка занять.  
Отсутствие событий — тоже сила,

я понимаю, как не понимать...  
Что ж, выверну мешок — и все. А шило  
вам надлежит, любимые, искать.

## 25.

Надеюсь, что не пылен мой мешок,  
хоть в городе уже довольно пыльно.  
Застраивают бедный пустырек,

и житель входит в раж автомобильный.  
Пора на дачу. Где она снята?  
Допустим, в Сестрорецке, или... или...

Нет, в Сестрорецке .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

26.

В любой душе хранится с детских лет  
замаранный, несчастный образ Моти  
как средоточья всех на свете бед.

Что мы имеем знать об идиоте,  
кроме простого факта: он сосед,  
и целый день копается в помете.

Его лицо имеет рыжий цвет.  
Родителей несчастней не найдете,  
поскольку таковых на свете нет.

Он весь — протест тому, что вы живете  
среди повышений и снижений цен.  
Вне разума кретин, но и вне плоти.

Он искупает ваш разумный тлен.  
И если не читали, то прочтете —  
он совершенно фолкнеровский Бен.

27.

Я примитивно все это сказал  
и, кажется, сказал немного резко,  
но — Бог тому свидетель — я устал,

хоть не прошел и четверти отрезка  
пути... Произнесу: когда б я знал! —  
и далее продолжу не без блеска.

Представьте себе утро, всю в свету  
веранду, рукомойника позвяки,  
кружение ос над клевером в саду,

потягиванье сладкое собаки,  
затем — благоуханную еду:  
в сметане помидор, стакан во мраке

дымшующего кофе с молоком...  
и мальчика, что делает мне знаки:  
скорей, скорей! Срываюсь — и бегом.

28.

В ту пору я, ничтожный лоботряс,  
любил, чтобы меня вокруг любили,  
весь трепетал, за первенство борясь,

тщеславие во мне рождало силы,  
иль глупый темперамент — меж друзей  
я был девятым валом среди штиля.

Мой друг Владимир был меня взрослей,  
степеннее... Как если бы им опыт  
его семьи учтен был... Так верней.

Что-что, а это всякий смертный копит,  
чтоб подвести лет в семьдесят итог:  
все дети — в людях, внуки (в виде хлопот)

наличествовуют; еать, где сбиться с ног.  
На этот счет мне чужд надменный ропот.  
Семья — святыня. В ней немалый прок.

29.

Вечерний час, оваянный теплом.  
Что для романа август нам подарит?  
Для этого достаточно пешком

пройтись вдоль дач: в тазах варенье варят,  
снимают пенку розовую тень  
и на язык берут ее, базарят,

не густо ли, убавлен ли огонь,  
развешивают простыни, рубашки,  
зовут сопливых Павликов и Лень —

им — вымыться и спать, а то — нанашки,  
вдоль моря — тихоход мужей и жен,  
стучат у санатория в костяшки,

мой друг Владимир в местную влюблен.  
Целуются. Не все ж играть в пятнашки.  
День полон тем, что он опустошен.

30.

Как хорошо в поселке по ночам!  
Ах, вы не улыбайтесь. Кроме шуток.  
Когда и смоляной и звездный чан

зачерпывает половину суток  
и оживает известковый клан  
любезных Заболоцкому малюток.

Имеет ли природа тайный план  
посредством созерцающего взгляда  
вскружить его приверженцу кочан



за краткий миг до вечного пропада,  
или ее работа — наобум —  
среди ночных зарниц и звездопада —

итог один. Пусть тождество двух сумм  
из самого восторженного ряда  
переживаний, чувствований, дум...

31.

Я возвращаюсь в город. Для того  
со мной взросло вместе время года,  
чтоб я вернее чувствовал его

спокойную и умную природу.  
До самых слез мне снова причинен  
Крестовский остров, взятый в непогоду,

хоть он не по пути и ни при чем.  
Вон будка милицейская, прохожий  
с какою-то котомкой за плечом,

там гастроном мелькнул говяжерожий,  
и наконец — Чапыгина, мой дом,  
мой двор и мой подъезд, и я в прихожей,

где каждый гвоздь мне несколько знаком...  
Сентиментальность... Надо было строже  
рассказывать... И просто о другом.

32.

Теперь пора заканчивать главу.  
Минувшего она была этюдом,  
и ежели на этом я сорву

два-три аплодисмента, только — чудом.  
В ней краснобайства было чересчур...  
Не то, чтоб я, не следуя занудам,

старался на предмет фиоритур...  
Так получилось. В смысле построенья —  
из четырех задуманных фигур

я три осуществил, для настроенья  
упомянув об осени едва.  
А можно объяснить все это ленью.

Но это будут лишние слова,  
пригодные не в суп, а для соленья.  
А нам нужна на п е р в о е глава.

### 33.

Что на второе? Видимо, герой.  
Владимир пребывал у нас в покое.  
Я иногда встречал в его покой,

но вы, боюсь, довольствовались мною.  
Теперь мы приготовим из него  
что захотим. Беф-строганов? Жаркое?

А может быть не надо ничего?  
Да говорите прямо! Что такое?  
У вас ведь много вкуса своего.

Мне важно знать, главу свою итожа,  
что вам пришлось по вкусу со стола,  
а от чего изжога... Ну так что же?...

Прощай, глава! Мне жаль, что ты была  
на замысел чуть более похожа,  
чем мне того хотелось, поняла?





1.

Теперь Владимир... Кто он? — инженер.  
(Бездарное студенчество минуя,  
мы застаем его в одной из сфер

советской жизни, рад бы взять иную  
действительность, но нет ее, топ чер.)  
Он в семь часов будильник, одесную

гремящий, ненавидит выше мер,  
затем встает, во мглу полуночную  
вперяет взор. В болотах наших сер

рассвет и сыр. Как дырочки на сыре  
(не слишком точно) окна; интерьер;  
тьнь человека бродит по квартире

и тень рубашки ищет, например.  
Он думает: «Зачем я в этом мире...» —  
на чуть философический манер.

2.

Здесь поневоле станешь коль не мудр,  
так сильно развит. Гниль располагает,  
в особенности, в пору зимних утр,

к раздумию, прищуришься — мигает  
фонарь, и по дорожке световой  
пока к нему ползешь, уже светает.

Вот из метро выходит мой герой  
на Нарвской, мыловаренным воняет  
заводом от метро до проходной,

и служащих затравленных шатает.  
Какая вереница в полумгле!  
О знал бы я (Б. П.), что так бывает,

когда пускался... Холод на земле  
надежду в тех философов вселяет,  
которые с утра навеселе...

### 3.

Владимиру с утра не по себе,  
ему не в радость жизнь, по крайней мере —  
на службе, именуемой КБ.

Он думает: пейзаж для Алигьери.  
И если замыкать десятый круг,  
то — накоротко и на инженере.

Вон тот старик с крючками тощих рук,  
пергаментных от долгого куренья  
на лестничных площадках и вокруг,

утративший почти и слух и зреньё, —  
он тридцать лет над схемами клюет,  
страдая гемороем и мигренью...

Я от себя добавлю: он живет  
давно один, не зная в воскресенье  
куда бежать от жизненных пустот.

### 4.

Его отрада — Рита, сорока  
лет с небольшим. Он с нею ежедневно  
беседует. «Простите старика,

я надоел вам...» Рита полугневно-  
полушутя отвечает: «Да-да»,  
«Моя судьба еще ли не плачевна?»

«Ах, перестаньте, что за ерунда...»  
«Какой мороз...» Погодные проблемы  
стояли перед клерками всегда.

«Шинель» продута ветром этой темы,  
и далее... А наши с вами дни  
дрожмя дрожат, но как-то полунемы.

И если понимаются они  
как торжество задуманной системы,  
то уж не нами. Боже сохрани.

## 5.

Владимир ухмыляется: вот ЭМ.  
Сколь жалкое, он думает, созданье!  
Жена ушла — он тронулся совсем,

раскрыл Флобера (красное издание)  
и письма ей строчит, из «Бовари»  
заимствуя безумные признанья.

Добавлю: ЭМ. страдает, он внутри —  
тупик, переходящий в боль и скрежет,  
и это страшно, что ни говори.

Владимир улыбается — он нежит  
свое высокомерие, сочтя  
его за пронизательность, он тешит

порочное тщеславие, дитя.  
Когда-нибудь дитя еще опешит,  
изведав... Но об этом погода.

## 6.

На улице в полсилы рассвело.  
Одиннадцать. В режиме — физзарядка.  
Что у кого немного затекло —

то снова растечется для порядка.  
Владимир с сигаретой — в коридор,  
под мышкой — дневниковая тетрадка,

за окнами... за окнами — простор.  
Он думает: о, всю бы без остатка  
жизнь записать... Но — как? Но этот сор

куда девать... Трагическая складка  
у губ его... Он прячется в клозет  
от посторонних взглядов. Вот где сладко!

Вот где дерьма (пока что, правда) нет.  
Он пишет прозу жизни — вот где хватка!  
Вот у кого учиться нам, поэт!

## 7.

После обеда с двух до четырех  
тиха лаборатория, все дремлет,  
желудки переваривают, вздох

послышится, и — тихо, все объемлет  
дремота и дурная стрекота  
от ламп дневного света, ухо внемлет,

не слышно ли шагов... Нет, пустота.  
Как женщины стареют в это время!  
Взгляни на них — подумашь: беда.

А, Б, В, Г, Д, Е... — беда со всеми  
и, в частности, с ударницей труда  
Ж. (ей бы в производственной поэме!)

Владимир спит. Вот бодрствовать когда!  
Но он устал. Покоится на схеме,  
где черные жирнеют провода.

## 8.

А там темнеет. Это ли не грусть,  
не жизнь, не боль... Вот самоутешенье:  
есть вещи пострашнее... Значит — пусть,



точнее — путь, точнее — изложенье  
пути... хоть и не истина вполне,  
но, в меру соучастья, приближенье.

Другой архипелаг на самом дне...  
Я помню: мы-то счастливы, мы дышим,  
и шепчем что-то на ухо жене,

и более того — мы что-то пишем,  
и празднуем, и слышим похвалу...  
и ничего не видим и не слышим...

Я это помню, подходя к столу.  
(Аплодисменты). Скорбь свою утишим  
и перейдем к герою. На углу

## 9.

девятой и восьмой бессмертных строф  
мы застаем Владимира, идущим  
домой, он говорит: «Вот пироскаф,

чьи съемщики несутся к райским кущам,  
уйдя кто в телевизор, кто в роман,  
кто в облако забот о дне грядущем.

Кто это строил? Предок обезьян.\*  
На этом месте в будущем раскопе  
ливурнских башен не найдут. Изъян.

Непышная растительность и топи...»  
Владимир и снимает здесь свой куб,  
среди тощих новостроек, в общем скопе,

вникая в шум утробной жизни труб  
водопроводных, в области утопий  
не пребывая. Он не так уж глуп.

---

\* — Владимир оговорился. Он имел в виду: потомок.

10.

Что далее? А далее подъем  
на лифте (эти хлопанья дверные —  
сперва внизу, далекие, потом

мотора завывания глухие,  
и наверху — я прочно изучил,  
прислушиваясь к ним всегда впервые

и ожидая тех, кто приходил),  
квартира, отдаленный смех соседки  
(поскольку наделен избытком сил

щекочущий ее сосед по клетке),  
и — пауза, прекраснейшая из  
возможных в тишине на табуретке,

и долгое затем смотренье вниз  
на крошечных людей, на редкий-редкий  
вечерний свет, упавший на карниз.

11.

Владимир приглашен... куда бы?... на...  
на... сборище к приятелю по школе,  
поэту, чья талантливость ясна

(особенно участникам застолья)  
как божий день, она подкреплена  
(талантливость) интимом, хлебом с солью

и дюжиной крепленого вина.  
Владимир как покорный почитатель  
поэзии зван в гости... Тишина.

Он видит, как волнуется приятель,  
и думает о том, что тот — позер,  
как он — притворщик, если не предатель,

поэту адресуя ложный взор  
(а как бы ты внимал ему, читатель?)  
усердного внимания. Позор...

12.

Поэт подходит, он во всей красе,  
великодушья в нем трепещет жилка.  
«Как творчество?» — «Какое?» — «Нынче все...» —

«Я — нет...» Владимир врет пугливо-пылко  
и тянется поспешно к колбасе.  
«Стихи прекрасны...» — «Ладно. Где бутылка?»

ПЭ. знает цену этой похвалы,  
хотя самодовольная ухмылка  
его и продает из-под полы.

«Знакомься, без пяти минут актерка.  
Владимир. Ольга. Оленька, вели  
Владимиру ухаживать...» Каморка

задымлена, здесь краешек земли  
обетованной, здесь герою горько,  
и вдохновенно, и хмельно... Пошли...

13.

Пошли отсюда. Я тебя люблю,  
особенно сквозь хмель, сквозь эту дымку...  
А ты меня?... Постой, я постелю...

Не провести ли жизнь с тобой в обнимку?  
Ты спишь уже, мой зайчик?... Да, я сплю...  
(Весна сродни плохому фотоснимку —

расплывчата. С трудом ее терплю.  
Но им-то что? Он умница и гений. —  
Лесть женщины, не равная нулю, —

уже залог мужских повиновений,  
ручательств и привязанностей, лесь —  
залог горизонтальных положений

двух тел, которым сладко спать и есть...  
Мы пленники ее хитросплетений.  
Не надо так роптать. Немного есть).

14.

Любовники заснули в феврале —  
проснулись в марте. Это ли не доля?  
Владимира дневник ждет на столе.

Нехитрый адресат у прозы. Оля.  
Он посвящает Оленьке рассказ.  
Она, хоть не улавливает соли,

но хвалит, чтобы гений не угас,  
взаимость чувства нежного прославил,  
а там и от забвения их спас.

Владимир весь (хоть службу не оставил)  
в писательстве (а служба про запас,  
для заработка, все в пределах правил).

Он смотрит с вождельем на Парнас,  
к чьим жителям в уме себя прибавил.  
Такое самомненье не для нас.

15.

Он любит. О, мы знаем по себе  
привязанность язвительного толка.  
Расспросы. Кто был в прошлом? Этот ПЭ.?

А Оленька подзуживать: не только.  
Всех опиши по очереди. Как  
ты их любила? Пламенно? И долго,

и пламенно... В таких расспросах смак особый. В деле самоутвержденья нет средства эффективней, мой дурак.

Однако же прервем ночные бденья и перейдем к событиям. Итак, проходит год, а с ним и заблужденье

подруги, что Владимир (всех им благ!) и есть то мимолетное виденье, без коего ей было бы никак. —

## 16.

Она в театре. Знаете ли вы Литейный, а на нем Театр Драмы? Его рекламу ртутной синевы

вы помните? Достоин эпиграммы театр сей — убийственной, увы. Но все же не провинция. Для дамы-

актрисы — он достаточно хорош. (Вы согласитесь, если не упрямы). Она в театре. Мысленная дрожь

Владимира охватывает — климат театра не умеренный. Так что ж? Да ничего. Он Оленьку отнимет.

Владимир не согласен на дележ. Но трусоват. Он руку не подымет на Олину свободу. Это ложь.

## 17.

Он будет истреблять по мелочам ее свободу мстительной гордыней, и, в потолок уставясь, по ночам

следить за ерундой ползучих линий,  
и ненавидеть собственную спесь,  
и, прикасаясь лапкою повинной

к подруге, извиняться... В этом весь  
Владимир. Но подругу-то подменят.  
На нежности последует: не лезь...

А гордецы подобного не ценят.  
Затем она вещички соберет,  
произнесет «ничтожество», наденет

пальтишко, хлопнет дверью и уйдет.  
Куда свою персону Оля денет?  
Я думаю, к родителям. Вперед,

## 18.

за девочкой, в обшарпанный квартал,  
каких глухая бездна в Ленинграде;  
там коммунала морит коммунал

(существованья собственного ради)  
с клопами заодно. Полуподвал.  
Вот пожилая женщина в халате;

раскатывает тесто; бутерброд  
(для точности: он с частичком в томате)  
муж запивает чаем (красный рот).

Соседка — то, румяная от стирки,  
в пару над тазом медленно плывет,  
то пришивает к наволочкам бирки,

то варит щи и русское поет...  
Друзья мои, вы знаете квартирки,  
подобные описанной? Вот-вот...

19.

В одной из них и я сейчас живу,  
и ведаю, что дворничиха Соня  
и дворник Толя пьют в своем хлеву

и кровоточат мордами... На фоне  
их воплей «Я тя, падло, посажу!»,  
а также дня осеннего на склоне

я что-нибудь гуманное пишу.  
Жена и дочь вот-вот придут с гулянья,  
и творчество закончится. Спешу.

Такой подход достоин осмеянья.  
Вот творчество — вот жизнь. Какой конфуз!  
Их разделенье — есть заболеванье...

Но чем не заболеешь ради муз!  
И если я найду в вас пониманье,  
оно продлит наш творческий союз.

20.

Вот Олины родители: отец —  
преподаватель физики, он тихий  
и скромный молодец среди овец,

мать на дому работает портнихой.  
Муж у нее под пяткою. — Строга,  
поскольку зарабатывает лихо.

Ее жених под пулею врага  
погиб на фронте, жаль его. Не это —  
ноги ее здесь не было б. Нога,

однако, здесь (лет тридцать), а не где-то.  
Когда А. А. хмелеет (в дни торжеств),  
она сживает ближнего со света,

Б. Б. хватает вазу (этот жест похвален), но, вернув ее буфету, смиряется с безумием окрест.

## 21.

Вы скажете, что жизнь не хороша.  
Возможно. И к ее однообразью  
не то чтобы лежит моя душа...

но... но. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

. . . . .  
Они солили на зиму грибочки,  
откладывали деньги не спеша,

чтоб в отпуск съездить к морю (ради дочки),  
Б. Б. строгал по дому, мастерил  
то шкафчики, то к шкафчикам замочки,

то в булочную вечером ходил  
(читать реклам горящие цепочки  
он с беззаветной нежностью любил).

## 22.

Весной заборы дочерна мокры,  
под кнопкой заржавевшею обрывок  
афиши, придорожные шары

деревьев, и зеленый дождь — в загривок  
троллейбусу, и вопли детворы,  
бегущей по домам после прививок.

Распльвчата пора, но нет поры  
дыхательней, ступням свежо в сандалях,  
над мостовой — белесые пары,



мелькнут — то купола в небесных далях,  
то — сплошь стена с портретом посреди,  
то снега островки в аллеях талых

Михайловского сада... Нет пути  
пронзительней, чем в городе усталых  
от холода людей, как ни верти...

### 23.

Владимир в лихорадке, он следит  
за Олей, он за нею неустанно  
бежит, крадется, стелется, летит,

мысль о другом (Евгении) туманно  
его младую душу леденит.  
Полпервого... все нет ее... как странно...

Он, спрятавшись под липой, сторожит,  
и мерзнет, и зевает, еле-еле  
одолевая ревность тем, что спит...

Но спать нельзя... Да что я, в самом деле...  
ведь я люблю... страдаю... он кричит,  
стуча в окно, в окно... она в постели!

В постели? С кем? С Евгением грешит...  
Он кто? Актер?... И нежности не те ли,  
что мне — е м у на ушко шелестит?!

### 24.

На крик Б. Б. выходит. Он в пальто,  
накинутом на майку. Вид папашин  
Владимира пугает, он не то

задумал что-то... Темень. Свет погашен  
кругом. Он прячет нож (чтобы убить  
Владимира) за пазухой... Он страшен.

Вот руки он воздел (о, как тут быть?),  
вот, опустив карающие руки  
в бессилии, внезапно начал ныть,

и сетовать, и хныкать... Этой муки  
не выдержав, Владимир побежал,  
горя тупым огнем стыда и скуки...

И лунный свет в испарине дрожал  
над мостовой, и вздрагивали люки,  
и конь во всю ивановскую ржал

## 25.

и неся, как положено, за ним...  
(Коня седлал точь-в-точь товарищ Ленин.  
Указывая вдаль перстом своим,

узду сжимая крепко — чем и ценен, —  
он так сказал Владимиру: «. . . . .  
. . . . . !» —

и, тронув его потную ладонь,  
пустился вскачь. О, мудрость монолита!  
Скажи, куда ты скачешь, гордый конь,

и где отбросишь ты свои копыта?  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .).

## 26.

С Желябова Владимир повернул  
к желтеющим конюшням; мимо Спаса  
пройдя, он вышел к Полю... ветер дул,

в деревьях сада пряталась терраса,  
шпиль замка Инженерного блеснул,  
Фонтанка в черноте ночного часа

лежала, доносился ткацкий гул  
(иль топот конский?), улица зажата  
была между домов, как между скул

(сомнительно)... Литейный... Воровато  
Владимир оглянулся и попер  
к пристанищу искусства и разврата,

и в тот же миг он с Оленькой в упор  
столкнулся... Боже! Ужасом объята,  
она не глядя кинулась во двор.

## 27.

Но он за ней, и тащит ее прочь,  
и голосом дрожащим умоляет  
с ним провести сегодняшнюю ночь,

простить его... За что?... Она прощает...  
Они идут, идут... и входят в дом...  
А. А. с Б. Б. их чем-то угощают...

они сидят за праздничным столом...  
И вдруг — звонок... Владимир почему-то  
идет к дверям. Евгений. Это он!

С подчеркнутой трезвостью минуту  
стоит Евгений молча, но затем  
удавливает с вежливостью спрута:

«Ей быть со мной». И все. Владимир нем.  
Тот, развернувшись холодно и круто,  
во мгле ночной скрывается совсем.

Герой мой произносит монолог:  
«Актеришка бездарный, ты мокрица,  
я пулей просажу тебе висок!

Дуэль! Дуэль!» — и будущий убийца  
стоит в слезах и дергает замок  
(я думаю, дуэль не состоится,

престиж у чести нынче не высок,  
честь — это мелочь... Есть дела у духа  
и поважней, мой маленький дружок-

любезный пастушок... м-да...), в горле сухо,  
вот он идет обратно, на порог  
ступает — никого. Темно и глухо.

Владимир совершенно одинок.  
А тут еще из тьмы, сверлящий ухо,  
доносится предательский звонок...

Проходит вечер в ужасе, в слезах,  
в лежащем положении на диване;  
душа, став горлом, грудью, иль во прах

поверженною плотью, на аркане  
безумия трепещет. Никому  
не рассказать, как плохо. В этом плане,

он взял бы в собеседники Камю...  
но строки расползаются... и травят  
тщеславие и зависть жизнь ему...

писать роман... роман его прославит...  
она поймет, но поздно... к черту, прочь! —  
он спустит ее с лестницы... иль явит

великодушье... все простит... невмочь...  
ведь он бездарен... что его избавит  
от жизни и от смерти? Сон и ночь.

30.

Неделя, две... Со службы воротясь,  
брошенный дневник порою вынет  
Владимир и сидит недвижно час-

другой над ним, потом его задвинет  
обратно в стол и думает о ПЭ. —  
ПЭ. просто одарен — и сердцем хлынет

пустая боль, и горечь, и т. п.  
Он выйдет позвонить ему. Тот, зная  
печаль героя, скажет о себе

безрадостное что-нибудь, роняя  
слова, как сад... едва, едва, едва...  
и жизнь его покажется родная

(или — родною?)... Теплые слова  
прими, мой ПЭ., хоть не совсем такая  
неискренняя бережность права.

31.

Проходит год... Субботний день... Июль.  
Владимир спит до самого полудня.  
Вчера он перебрал, и круглый нуль

в мозгу его вращается. Паскудней  
похмелья — не бывает. Узкий луч  
сквозь шторы пробивается, сквозь будни,

высвечивая жизнь в разрывах туч...  
Хоть жизнью и назвать все это трудно...  
Особенно тому, кто в ней могуч.

Но раз дана — дана. И это чудно.  
Владимир, перейдя через пустырь,  
идет к ларьку пивному. Там безлюдно

почти... какой-то тип... какой-то хмырь...  
Владимир ждет глотка (сколь это трудно,  
понятно хорошо тому, кто сир).

### 32.

Мы с вами в новостройках. У ларька  
стоит Владимир, он сдувает пену  
с янтарной кружки, чуть дрожит рука,

но дрожь ее стихает постепенно.  
Владимир наблюдает, присмирив,  
за солнечным лучом, залившим стену

так медленно, так плавно, нараспев...  
Затем он удаляется. Фигура,  
мелькая среди худеньких деревьев,

как в поисках эпитета, — понура.  
Что делать с жизнью, если ни на миг  
в ней не предполагается купюра?

В поэзии вольготней. Невпротык  
мне продолжать (противится натура) —  
и умолкаю. Правда, есть дневник

### 33.

Владимира. Его, переписав  
стихами, приведу... Примерно, в пятой  
главе. Расположение двух глав

на расстоянье — выразит изъятый  
из летописи мученика путь.  
Пусть время поработает лопатой.

Пусть женится, главу склонив на грудь  
заботливой подруги. Пусть работу  
подыщет посвободнее чуть-чуть.

Опубликует повесть. Скажем, что-то  
на тему экологии... А там  
разлюбит нелюбимую. В болото

вновь соскользнет. Тогда мы по пятам  
за ним пройдем вторично. Как пехота  
за танками. Заняты не для дам.

## ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Итак, она звалась Татьяной.

*А. Пушкин*



1.

Другим героем я себя займу.  
Но слова два вдогон скажу о прошлом,  
пред тем, как погрузить его во тьму.

Мой тезка был героем суматошным,  
эгоистичным, мелким, по уму —  
подростком то завистливым, то пошлым.

Он заключен был в злую тюрьму  
страстей тщеславных, где вольготно дошлым  
и наглым проходимцам — не ему.

Подруга же, сочтя его ничтожным,  
ушла и дотопила. Жаль Муму.  
Быть может, повинуюсь схемам ложным,

я снова в оборот его возьму.  
Пока, в повествовании несложном,  
чем автора привлек он — не пойму.

2.

Не всем пришлось по вкусу эта кость.  
Один изрек: не чувствую прокола  
(и то сказать: для шины нужен гвоздь),

другой сказал — ему мешает полу-  
презренье романиста полуспесь  
(но этот был не мужеского пола),

и третий, подготовившийся весь  
до красноты, сказал... но так невнятно...  
я не слышал... Что сказал? Невесть...

Четвертый был умнее и, понятно,  
не понял ничего, сославшись на  
почтенный возраст. Это неприятно.

Что пятый? «Нет движенья — грош цена роману». Наконец, шестой превратно главу прочел. И это был жена.

### 3.

Роман — есть заблуждение, сейчас,  
в столь эсхатологическое время,  
обязан кратким точный быть рассказ.

Но я с себя снимаю это бремя.  
Что в стол писать — стихи или роман —  
без разницы, надежд на «Здравствуй, племя...»

я не питаю. Это для дворян.  
Неслыханное дело — нет печати  
для скромной идиомы: дело дрянь.

Здесь если встретишь слово, то в цитате  
из классиков, особенно на Пэ.,  
найдется и в любимом Айзенштате,

но на печатной серенькой тропе  
конфликт «поэт-толпа» и нынче кстати.  
Толпа поэтов. Стыдно быть в толпе.

### 4.

Есть книги смертоносные, они  
не пахнут даже тлением, им скука  
мышинной типографии сродни,

где долгий труд прозренью не порука;  
я их читал, не видя там ни зги.  
Любовь без регистрации — есть мука,

разъевшая язычнику мозги.  
Но если регистрация для брака  
уместна (хоть зевается с тоски),

то для любви немыслима однако.  
Уж лучше мука, нежели позор  
печатного скучающего знака.

Молчи, поэт! А, впрочем, мой простор  
останется при мне. Возьмем из мрака  
героя моего и кончим спор.

## 5.

Я вижу коммунальный коридор,  
столь свойственный годам пятидесятым,  
с клетушками для жизней. Скотный двор

помещика опрятней был, куда там...  
Но плотник Вася на руку был скор:  
перегородки справил, крепким матом

покрыл весь мир и вышел... Все же был  
тот дом не из простых, хоть простоватым  
казаться мог... Быть может, он любил

другое время... Помнится, был светел  
просторный зал внизу... Какой-то пыл...  
(я этот дом в музейном виде встретил)...

В том доме на исходе славных сил  
старик Державин мальчика заметил  
и, в гроб сходя, его благословил.

## 6.

То был Лицей. Тогда еще росли  
в аллее за дворцом большие липы,  
и с запахом сыреющей земли

входили в окна медленные скрипы.  
Вы там не раз гуляли и могли  
осенних крон блистающие кипы

вдыхать и слышать... Лестницей крутой  
вернусь на скотный двор к своим баранам,  
к своим ягнятам, к девочке одной...

Ну что ж, пусть не покажется вам странным,  
что это героиня, не герой.  
Но мне никак не справиться с романом,

он сам себе хозяин, и порой  
во имя рифмы жертвую я планом,  
на женский пол меняя пол мужской.

## 7.

Дитя было задумчиво. Окно,  
затрепанная кукла, у которой  
одна рука оторвана давно —

предметы обихода. Там, у шторы,  
оно могло сидеть не шевелясь  
часами, от игры или от ссоры

детей не отводя глубоких глаз.  
Его глаза, казалось, отражали  
не этот мир, не этот день и час,

но темный свет дожизненной печали,  
ту память, не имеющую слов  
иль образов — имеющую дали,

в которые мы смотрим после снов...  
Увы, здесь ни единой нет детали  
из тех, что т а м проникли в нашу кровь.

## 8.

Но внешний мир ей не был дан как мир,  
в котором, равноправный соучастник,  
ты есть один из призванных на пир,

и должен потрафлять тому, чтоб праздник  
стал праздником лукавства. Вот кумир:  
лукавое соперничество имя

ему. Но тем, кто смотрит из окна,  
кому игра страшна, непредставима,  
тому и жизнь запомниться должна

как ужас немоты, как пантомима:  
возня в снежки, катание с горы,  
солдатики, мячи, велосипеды,

и малые хозяева муры,  
творящие потом большие беды  
по всем законам детства и игры.

## 9.

Из кельи вид: как прежде, меж дерев  
белело небо облачного толка,  
редактора не вызову ли гнев,

продолжив так: с той разницею только,  
что бывший лицеист, обронзовев,  
сидел внизу, задумавшись надолго.

Он не был в поле зренья. За окном  
желтела колокольня небольшая,  
в ветвях, нанесена густым штрихом,

располагалась гнезд грачиных стая.  
Две-три дорожки для ходьбы пешком.  
Я не люблю грозу в начале мая,

поэтому весну перенесем  
на март-апрель и, запаху внимая,  
ноздрей в строфе десятой поведем.

10.

Она любила раннею весной  
из форточки синеюще открытой  
вдыхать холодный воздух земляной,

оттаявший, дрожащий, даровитый,  
столь созданный для быстрых птичьих тел,  
к их оперенью влажному привитый...

Какую тяжесть он преодолел?  
Какое обещанье в нем таилось?  
Что было ей положено в удел?

Она большим предчувствием томилась,  
подобно мне, не знающему что  
и как скажу, чтоб жизнь ее продлилась.

Накину ли на девочку пальто?  
С ней выйду погулять? Скажи на милость,  
кто пособит мне? Чувствую — никто.

11.

Дыханье лестниц каменное, мрак,  
щербатый колизей кошачьих козней,  
мерцанье лужиц, сырость, аммиак,

и тень твоя, отброшенная грозно  
на стену... Одинокая душа  
к игре теней относится серьезно.

Нам эта сцена (впрочем, ни шиша!)  
напоминает сцену в Эльсиноре...  
Там принц дрожит — принцесса, чуть дыша,

подрагивает здесь. Там плещет море,  
там тень отца — здесь собственная тень,  
там тонет в фарисействе все — здесь в хоре

кошачьем. У Шекспира — ночь, здесь — день...  
И сходства нет. Но мне-то что за горе?  
Найдете сходство, ежели не лень.

12.

Не зря, не зря явилась тень отца.  
Она на темной лестнице мелькнула,  
когда, сблестнув отчаянно с лица,

он убегал из этого аула  
в другую степь, оставив второпях  
дырявые носки под мышкой стула,

в коробке шляпной, где-нибудь в дверях  
забыв пластинки, в том числе: два сольди  
на сопках волн амурских... (этот прах

уже не разберу сейчас, увольте),  
забыв в буфете пачку сигарет...  
Его жену во гневе не невольте —

два сольди пусть швырнет ему вослед...  
(А рифмы с общим корнем уж извольте  
простить, но благородней что-то нет).

13.

Тем временем, с гулянья возвратясь,  
та девочка испытывала нечто  
испытанное датским принцем. Связь

времен распалась. Это человечно,  
поскольку побуждает к жизни нас.  
В ту пору героиня испытала

любовь и жалость к матери как раз.  
Затем она испытывала мало  
к ней добрых чувств. За шкафом бельевым

чуть позже мать кого-то принимала,  
чуть позже принц, разбуженный ночным  
смешком, восстал, откинув одеяло.

(Здесь крысы? Нет. Ничтожный аноним  
уже исчез). Душа его рыдала.  
Все гибло в фарисействе перед ним.

14.

Ее ссылали к бабке, в суховой  
горячего, чужого Оренбурга,  
где наблюдала девочка свиней,

гусей и кур, собачья где конурка  
пустела и грустила всех сильней,  
где так печальна детская фигурка.

Зачем лишают нас родимых мест?  
Зачем ползет сухая штукатурка  
слепого неба, горечь и протест

зачем? Я знаю. Ужас тех объятий  
изведавший до дна — несет свой крест  
спокойно — без досады и проклятий.

Он помнит первый ясельный арест,  
и блеск никелированных кроватей,  
и в их ряду свой мерзостный насест.

15.

Попутно: оренбургской бабки муж  
убит был на дуэли, у казаков  
случалась эта пламенная чушь.

Красавица-казачка, чуть поплавав,  
вторично вышла замуж, но второй  
был уничтожен в пору самосуда.



И третий, победитель и герой,  
заставил полюбить себя (что худо),  
запугивая бабку срамотой

ее с врагами классовыми блуда...  
Когда ценой насильственных смертей,  
допустим, нас востребуют оттуда,

явив как человеческих детей,  
мы разве незаконностью чуда  
полны? Ничуть. Все правильно, ей-ей.

16.

Свободна ли, зависима река  
от родников и рек, ее питавших?  
Молчат невозмутимо берега.

В ее крови течет ли кровь пропавших,  
иссякнувших под толщею песка?  
Определен наследственным ли кодом

(простите) ее ход? (О, ДНК!) —  
Вот так у древних Рок владеет ходом  
трагедии, лукавит и темнит,

но правит агамемноновым родом,  
и злодеянье матери томит  
Ореста, и с убийственным исходом

сыновье злодеяние таит  
в себе... Ах, к этим темным несвободам  
судьбы я равнодушен, друг-пиит.

17.

Ее ссылали к бабке по отцу.  
Та комната с трельяжем и камином  
пришлась бы и вельможе ко дворцу —

двойные двери с бронзовым и львиным  
оскалом ручек, мощное окно...  
Вы догадались? Пахнет нафталином.

Вы догадались? Сыро и темно.  
Любимая колодезная тема,  
стена перед окном... Не все ль равно,

на что мы смотрим пристально и немо —  
здесь зреет дух, он в паузах растет  
(так паузами движется поэма),

здесь время останавливает ход,  
здесь ты перенесен в сады Эдема,  
где бродит меж столетниками кот.

## 18.

Попутно: в темной зале на стене  
висело фото, более в природе  
не бывшего, смотрящего вовне

из смертной дымки (что-то в этом роде  
бывает с фото, господи-прости)...  
Дед-иудей мечтал о небосводе

шестиконечных звезд, а не пяти...  
В двадцатые года мысль о свободе  
пресуществилась в действие почти:

он продал дом в местечке, он в общину  
ПЕТЗАТа сиганул, он по пути\*  
уже послал в родную Палестину

какой-то хлам немислимый, среди  
которого — подушку и перину...  
Там плохо было с перьями, поди...

---

\* – ПЕТЗАТ – первая трудовая земледельческая артель Туркестана.

19.

Все сорвалось, вы спросите? О, да.  
Пути Господни неисповедимы.  
Екклезиаст сказал: все суета.

Но если бы не здесь соткал из дыма  
и не меня Господь, то что тогда?  
Как в точке жизни все непостижимо

сошлось, чтобы пульсировать, сошлось,  
чтоб эта плоть носила это имя!  
Какие племена и вкривь и вкось

блуждали и ветвили это древо,  
чтоб распустилась жизнь моя? Авось,  
за остановкой нежной мышцы слева

разгадки тоже нет... Все сорвалось.  
Зато на белый свет явилась дева,  
в которой все зато пересеклось.

20.

Случается, какой-нибудь листок  
невзрачный, или запах, или шорох  
пронизывают с головы до ног,

и вспыхивает память, точно порох —  
(так замкнутую цепь пронзает ток) —  
все это было! В желтых коридорах,

иль светло-серых кухнях замереть  
вам доводилось? В тайные глубины  
вам доводилось исподволь смотреть,

задергивая в комнате гардины,  
когда внезапно, видимый на треть  
осенний двор, и форум голубиный,

и с дерева слетающая смерть —  
без промаха выстреливают в спину?  
Еще мгновенье и начнет темнеть.

21.

Быть может, одиночества часы,  
что чудом выпадали на рассвете  
(подобно каплям утренней росы),

просвечивая, к призрачной примете,  
уже сегодня явленной, припав,  
пожизненно преследуют нас, эти

мгновения раскручивают явь  
таинственной и чистою спиралью  
и тотчас исчезают, просияв

и новой наделив ее деталью.  
Так оперное пение в чужих  
домах звучит с пронзительной печалью

для сердца моего, и цепь других  
существований тянет, этой далью,  
быть может, совершенный дышит стих.

22.

Избраннице моей сей чуткий дар  
был дан вполне, особенно в ту пору,  
когда на мертвой точке календарь

осенний замирал, когда простору  
еще не шли на смену мгла и хмарь,  
и солнца луч еще мирволил сору

листвы — затишья мертвый государь.  
В предзимние часы, когда на двери  
и зеркало ложилась синева

из гамсуновских, может быть, мистерий,  
тот холодок со сдвигом, те слова,  
прочитанные деткой в прошлой эре,

являлись, и кружилась голова,  
мир множился и рос, по меньшей мере,  
превысив раза в три свои права.

### 23.

Домашние мы звери, как сказал  
один поэт... Завидую немного  
тому, кто в детстве комнатном читал

без принужденья, преданно... Ей-богу,  
завидую. В те дни он не питал  
еще пристрастья к ритму или слогу.

Весь с головою в чтение уйдя,  
не слышал он дождя, к нему проказа  
цитат не приставала... Вот дитя!

И вовсе повезло тому, кто сразу  
раскрыл Толстого, скажем, и прочел  
его простую нравственную фразу,

где рост души в могучий протокол  
порой сведен, Катюшиному глазу  
косящему где места он отвел

### 24.

так простодушно много... То-то мы  
запомнили и взгляд ее (пояныне  
на нас она косится из тюрьмы),

и усики беременной княгини,  
и прочее... Теперь-то ясно: граф  
был глыбой не трухлявой в середине,

наоборот — матерой... Я не прав?

.....  
.....  
  
.....  
.....  
.....  
  
.....  
.....  
.....

25.

В конце двадцатых строф я устаю.  
Отсюда — точки... Знаю, что аскету  
переварить расхлябанность мою

не суждено. Тем более поэту,  
который начитался умных книг  
и их зарифмовал для марафету...

Не суждено — не надо. Не привык  
ни в чем себе отказывать, тем паче,  
отказывая, свой спартанский лик

живописать и скромничать впридачу...  
Еще один подъем и третий пик  
возьму не без труда. Мужайся, кляча!

Не ржи, мне опостылел твой язык.

.....  
.....

26.

.....

27.

Скорее в декабре, чем в ноябре,  
она заболела регулярной  
(я вспоминаю мальчика в Комбре)

ангиною (а вы?) фолликулярной.  
(Я тоже просыпался на заре  
с божественною слабостью в суставах

и с равнодушьем к жизненной игре).  
Ей виделся пустырь, и на составах  
товарных — солнце в тусклом серебре

вагонных крыш блестело, монотонно  
шли поезда, как точки и тире  
бескрайнего заснеженного фона;

то — попросту снега на пустыре  
с чернеющим квадратиком вагона  
последнего — ей виделись в хандре.

28.

Ее душа, прочитывая суть  
видения — как некое ненастье  
невывразимой родственности жуть

в безмолвном фоне чуяла, пристрастье  
к нему питая чудное... Отнюдь  
не странное, но страшное отчасти...

Но вот блеснет змеиным телом ртуть  
в продолговатом градуснике — стоит  
его на свет немного повернуть —

и жар сильней томит и беспокоит,  
и к полдню начинаешь в нем тонуть,  
и к вечеру всего тебя накроет

тяжелый жар, и гаснет снежный путь,  
и новые ходы виденье роет,  
и лес горит, и в нем не продохнуть...

29.

Пока ты втянут в огненный процесс  
болезни с тошнотворной круговертью,  
пока на горле камфорный компресс

топорщится и пахнет теплой смертью,  
и чья-нибудь рука берет твой пульс,  
и кашель оркестровой пышет медью,

и полосканья содового вкус  
ребристое запоминает небо,  
и свет, как блеск рассыпавшихся бус,

перед глазами скачет, и хвороба  
распластывает плоть, из ломоты  
ее не выпуская и озноба,

пока лежишь в забывчивости ты —  
душа отстранена и, глядя в оба,  
вдруг видит смерть как точку пустоты.

30.

В один из дней болезни ей открыт  
был смерти страх (который неотвязно  
преследует того, кто не зарыт

и под землей не съеден безобразно,  
кто этим страхом все еще не сыт  
и ночью пробавляется им праздно;

мы с вами днем привыкли делать вид,  
что вечны. Это целесообразно,  
поскольку притупляет совесть, стыд



и пр., а в государственном масштабе  
из нас формует цельный монолит.  
Нельзя уподобляться слабой бабе.

Но по ночам, когда начальник спит,  
и человек в каком-нибудь прорабе  
шевелится, и смерть его страшит...

31.

.....),

32.

в один из дней болезни, ввечеру,  
в обнимку лежа с куклой однорукой  
и глядя в потолочную дыру,

прошитая насквозь смертельной мукой  
родившейся души (отождествлю  
рождение души ее со страхом,

хотя я тождеств страх как не люблю,  
но все-таки рискну, лети все прахом!),  
в том закутке лицейском, в том углу,

где Пушкин предавался первым ахам  
(а почему бы нет?), переводя  
свой взгляд на абажур, единым махом

освободилось нежное дитя,  
услышав голос, детям и монахам  
доступный в чистоте их бытия.

И все, и все. Хоть жаль, но это так.  
Вписать ли мне ее выздоровленье  
в историю болезни? Нет, иссяк.

Я принимаю ваши поздравленья...  
Она встает и видит зимний сквер,  
и стену колокольни в отдаленье.

Все точно попадает в мой размер.  
Сейчас осечки быть уже не может.  
Мы ждем врача — и вот он, например.

И нет его. И день последний прожит.  
Теперь (с уходом доктора) на два  
любитель умноженья пусть умножит

свободу героини... Вот глава,  
которая отныне не тревожит  
того, чья опустела голова.



## ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Это город полусумасшедших.

*Свидригайлов*

1.

Сгребают листья. Бурые знобят,  
зазубренные, скрученные гибло...  
День животворной гибелью объят.

Округа опустела и охрипла.  
Все вертится сказать: на даче спят...  
Цитата есть цикада есть цикута...

Там полосы пижамные скамьи  
больничный сад разметили кому-то  
и оттеснили замыслы твои,

там старые меха опять раздуты —  
опять свою тревогу раскрой  
на вольные терцины и минуты

и ясности постольку не утрать,  
поскольку пред тобою атрибуты  
безумия: вот ручка, вот тетрадь.

2.

«Я наблюдаю ход древесных лав,  
передо мной — в разливах красноватых  
по двум бортам — тяжелый дышит шкаф,

а хочешь — так: подобием крылатых  
массивных птиц, чьи крупные зрачки,  
как рыжий вес в дымящихся закатах...

а хочешь — так: двоякие сучки...  
Весь этот вздор наотмашь рассекает  
удар зеркально выбритой реки,

где перспектива жизни иссякает.  
Я по утрам туда смотрю, мой брат,  
куда пространство комнаты стекает —

вот реквием по всем вещам подряд!  
Как странно, брат, что ум не постигает  
явления... Пиши. Я буду рад».

### 3.

«Бревенчатый, Павлушенька, помост  
(пока не решена проблема бревен),  
и правда на помосте в полный рост.

Хоть в рубище, но голос мощно-ровен.  
Не все коту, Павлушенька, под хвост,  
доколе голос правды безусловен.

Чей со времен Иосифа, ответь,  
дар песнопенья столь же не бескровен?  
Павлушенька, глаголы «спать» и «спеть»

на вид различны: тот несовершенен  
и так живуч, что этот умереть  
еще при нем горазд. Бессмертен Ленин

один в природе. Тс-с и тс-с. Неметь  
неволит клен напротив — он бесценен —  
по осени его бросает в медь».

### 4.

«Стакан граненый с точкою на нем  
чаинки нежной вижу, открывая  
глаза; и вижу: тронутый огнем,

он врезан в воздух; глаз не отрывая  
от вещи, я бесстрастности учусь,  
вместившей свет, и гаснет мысль кривая.

(Литературных сборищ сторонюсь  
с тех пор, как я отведал их припарок.  
Друзья мои, ужасен наш союз).

В стакане, пожелтевшем от заварок,  
дымится чай, «страница под стеклом,  
бессмертная, вся в молниях помарок».

(Сообщества людей чреватых злом).  
Прощай, мой брат. Осенний день неяркий.  
И поделом ему, и поделом».

## 5.

«Довольно и десятка человек,  
но преданных, чтоб мы всадили шпоры  
в брюшину полудохлой клячи, «век»

зовущейся, ее кровавая поры.  
Я набросал трагедию «Побег»,  
и мне нужны бесстрашные актеры.

Я их набрал, Павлушенька. Теперь  
вообрази и выслушай, я скоро.  
Герой моей трагедии, что зверь,

но раненый; от ненависти воя,  
он вполз в воображаемую дверь...  
За мной следят, Павлушенька. А то я

не вижу их насквозь! Кругом враги.  
Но тс-с и тс-с. Ни слова про святое,  
Павлушенька. Прощай. Письмо сожги».

## 6.

«Как до отказа тесный апельсин  
набит росистой мякотью, как явлен,  
как собран в капилляры, как един,

как тишине внезапной предоставлен;  
лишь почитатель медленных картин  
увидит: с белоснежною прокладкой

под кожей — увидит — апельсин,  
и улыбнется теме кислосладкой.  
Лишь тот, кому не спится в этот час,

кому над ослепительной и краткой,  
живой строкой склоняться всякий раз,  
и вновь над ней склоняться, как над грядкой,

не надоело, — счастлив без прикрас.  
Лишь тот, мой брат, кто бодрствует украдкой,  
к скрипучей лире стула прислонясь».

## 7.

«Он вполз, он ненавидит всех и вся,  
он подавился внутренней речью:  
«Зачем я жил, зачем я родился

в стране убогой и нечеловечьей,  
в которой делать этого нельзя...»  
Не существо пред нами, но увечье.

(Вот поколенья вашего стезя:  
озлобленность и трусость вам привиты  
с молодых ногтей, замечу между строк,

что если по нетрезвости Никиты  
нам отломился воздуха кусок,  
то вас как будто не было, вы сыты

столь тайною свободой (видит Блок!),  
что позабыли где она, квинтиты...  
Павлушенька, прощай. Я одинок.)»

## 8.

«К скрипучей спинке стула прислонясь,  
я тень свою не вижу, но за мною  
она растет и дышит, преломясь,



и на окно взбирается ночное.  
О чем я говорю с тобой сейчас?  
О том, что жив и невообразимо

ничто и никогда, мой брат, без нас.  
(И только смерть отбрасывает имя  
так далеко, что гложет эта связь)...

О том, что тень безмолвная хранима  
тем, кто еще отбрасывает тень.  
(Где Мандельштам? Где то, что несравнимо?)

Живущий где? В игольное продень  
ушко немного неба или дыма...  
Где, как страница вспыхнувшая, день?)»

## 9.

«На чем настоян он и чем пропах?  
Пусть в первом приближенье, пусть не четки,  
но очертанья есть: и этот страх,

и ненависть — из горьковской слободки,  
из хриплого дыхания впотьямах,  
из Маркса непрочтенного и водки,

от смердов тех, застрявших в городах,  
оторванных от пахоты, в заводе  
зверевших в неосмысленных трудах

и мрачно помышлявших о свободе  
как о куске говядины, — от них  
ведет свой род (несчастнейший в природе!)

герой моей трагедии, одних  
он с ним кровей, хоть мыслит о «народе»  
интеллигентно-зло, как о «чужих».

10.

«Едва потемкам вещь себя вручит  
и с ней погаснут грани и рельефы,  
как в тот же миг по улице промчит

такси, и превратившись (не успев и  
смежить глаза) во вслушивание, ждешь  
когда довыплотится дальний рокот

в стеллажного стекла двойную дрожь.  
И все, мой брат. Мне дорог этот опыт.  
Все прочее, мой брат, ты помнишь — ложь.

Словесность, если что-нибудь и гробит,  
то направление: и славянофил,  
и западник — лишь степень истощенья

жизнелюбивых и творящих сил.  
Россия, Бог... В искусстве воплощенья  
что слово «Бог»? — Не более, чем стиль».

11.

«Когда Советы тех, кто стал ничем,  
обули наспех и образовали,  
и начали обещанный Эдем

устраивать из лозунгов и стали,  
когда слепому случаю потом  
их отпрыски обманутые стали

обязаны спасенным животом,  
когда уроки дрожи (распинали  
не зря соседа) впитывала кровь, —

тогда у тех, кто пестовал работу,  
переходила странная любовь  
к отчизне — в отравление и рвоту,

и в шепоток, и в двери на засов...  
Не тут ли был герой зачат? Ну то-то.  
Письмо сожги, когда не бестолков».

## 12.

Сгребают листья. Холодом реки  
осенний город призрачный пронизан.  
Вдоль набережной спят особняки,

и голубь препирается с карнизом,  
и небеса сбиваются в комки,  
и на вокзале выщербленном, сизом

землей и дымом пахнут грибники...  
Однако личным следуя капризам  
согласно и советам вопреки,

продолжу: перед нами переписка.  
У одного (у старшего) мозги  
повреждены, и это нам не близко.

Мы с вами, слава Богу, далеки  
от бреда Мельпоменой, то есть низко  
мы так не пали. Мы не дураки.

## 13.

Той осенью, когда я начинал  
существовать за Павла и Олега,  
и записную книжку начинал

детальями для пушечного разбега,  
той осенью как раз я навещал  
одно лицо с лицом белее снега...

Больница близлежащая, ее  
пространства для казенного ночлега,  
пока бубнишь стихи — бубнят свое,

и не приходит с вымыслом к согласью  
невывышленное бытие,  
как белоснежная страница с грязью.

Увы, пришлось Олега поместить  
в соседнюю палату, безобразью  
уловов нет предела, как тут быть...

14.

«Что связывает с миром, кроме тех  
полутонов, окольных замираний —  
свет ширится в аллее, или смех

доносится случайный, или грани  
предмета стороною проблестят —  
что связывает с миром, кроме ранней

тоски по ускользящему, взгляд  
уловит подоплеку, но стараний  
усердных не продолжит, милый брат.

Какой у человека был бы странный  
характер, Боже правый, удели  
он должное вниманье подоплеке...

Что связывает с миром? — шум земли...  
но не прямой, но косвенный, далекий...  
Не шум, так свет, но вспыхнувший вдали...»

15.

«Весь ужас в том, что был и шепоток  
другой, который «робкое дыханье».  
Тогда любовь и ненависть в поток

враждующий сливались для страданья,  
тогда на их слиянии взошло  
интеллигентское самосознанье —

уж совесть ела, уж сомненье жгло,  
и уж герой не столько ненавидит  
кругом него творящееся зло,

сколь собственную ненависть, он видит  
в душе не Царство Божие, но ад,  
и если ад оттуда не изыдет,

Павлушенька, то что это? Распад.  
И нет ему пощады, и не выйдет  
ему прощенья. Боги не простят».

16.

«Что связывает кроме... — аппарат  
насилия, иначе — государство.  
Нам эта связь навязана как смрад.

Но бунт (иль пьянство) — ложное лекарство.  
Расшатыватель всякой власти — дух,  
«та-та, та-та», иль тайное пристрастье,

которое — единственное! — слух  
и зрение спасает от напасти  
тупого долбежа чиновных мух.

Что предлагает разум? — неучастье,  
по мере сил, в союзах (тех, что «за»  
и тех, что «против» — это равнозначно)...

Дух вечно анонимен, он гроза  
без туч, без молний, впрочем — неудачно...  
Я бы сказал, он то, чего нельзя...»

17.

«Он вполз. Он хочет внутренность свою  
испепелить и воссоздать из пепла.  
Он бросил департамент и семью.

Он мучим искупленьем. Все ослепло  
и вопиет... Я вот на чем стою:  
искусство театральное бесплодно,

пока оно не вышло на простор  
и хору лицедейскому свободно  
пока не вторит зритель-антихор...

О бревнах я условился сегодня  
с рабочим усыпальницы. Актер  
на роль героя есть. В шестой палате.

Роняет сад багряный свой убор,  
и по нему гуляючи в халате,  
я на людей смотрю через забор.

P.S. Что рифмачи? Какое платье  
ни примеряй, все тот же выйдет вздор».

## 18.

«Не то ли дух, что черная дыра,  
в которую ты втянут с потрохами...  
Пока проблемы зла или добра

решают на собрании руками  
подъятыми, мы вправе умереть  
для нравственного поиска в бедламе.

В основе государства, посмотреть  
разумно — скука, истинно, к Морфею  
так проще нам в объятия лететь...

Не спи, не спи... О чем я? Что я? Где я?  
Я о себе, я человек, я там,  
где умирает всякая идея,

где за поэтом ходит по пятам,  
от сокровенной нежности немея,  
воспетый им в стихах гиппопотам».

19.

«Нет, по пятам жена его, и визг...  
Как далеко от духа до зарплаты?  
Да как от брызг шампанского до брызг

слюны, и от палаццо до палаты  
(прости великодушно сей пассаж).  
Где быта нет, «там простыни не смяты».

Что без него твой дух? Пустая блажь...  
Герой молчит. Он дал обет молчанья.  
Он загнан в самый угол, мальчик наш,

и состоит из стона и мычания.  
Вслед за женой — отец его и мать,  
мольба, упреки, гнев, увещеванья...

Павлушенька, я что хочу сказать...  
Я сам не знаю... Что-то на прощанье...  
Сосед не спит... Подсматривает, знать...»

20.

«Заняв в итоге нижнюю строку  
в реестре социальном, ты и данью  
обложен наименьшею, в стогу

иголку не найдешь и к созиданью —  
всеобщему заштопыванью дыр —  
не привлечешь. Еще одно сказанье,

последнее: обжуливая мир,  
ты должен быть подобен окруженью  
во всем, что непричастно пенью лир,

читай: душе и тайному служенью.  
Ты есть нераспечатанный конверт  
с письмом, доступным лишь воображенью,

ты человек, сказал бы я, без черт,  
еще раз уточню: по положенью.  
(Совсем не то имел в виду Роберт).

P.S. О рифмачах и продвиженье  
в служебно-непотребной их судьбе:  
им посулили платную огласку

и записали в клуб при КГБ.  
Что ж, эта власть догадлива на ласку  
к податливой на ласку шантрапе.

«Поэт-жандарм» — ты помнишь эту связку?  
На ней стоит поныне град Петров,  
и ряшками удобренную ряску

столичной жижи — новый Бенкендорф  
венчает, да и только. Все различье —  
в накале инквизиторских костров

и форме соблюдения приличья,  
но суть одна: их держат за скотов...

.....

Я как-то посетил их странный клуб:  
одна из углекислых фей читала  
поэму о Христе. Прискорбный труп

(культуры) был наживкой. Не клевало.  
(В счет не беру похлебствующий клан).  
Ей речь религиозного нахала

предшествовала. Город обуян  
(казалось, что не город, а эпоха)  
любовью к Богу резвых христиан,  
живущих как попало, то есть плохо».



21.

«Проверенное средство: быть, как все.  
Отец и мать несчастного героя,  
спасая жизнь в кровавом колесе,

знавали тошнотворный стыд порою.  
Покуда он не выветрился, стыд.  
Павлушенька, здесь смерть не за горою.

И спит ли, притворяется, что спит,  
иль умерла Психея — где граница?  
Твое нутро не то же, что твой вид?

Павлушенька, взгляни на эти лица —  
не зря их нет. И в зеркале пробел,  
и в душу посмотреть, как застрелиться.

Поэтому энергия их тел  
направлена на ближнего десницей  
карающей... От пошлости их дел».

22.

«Еще: есть в аппарате нежный полк  
поборников традиций и культуры,  
бесстрашно понимающих свой долг:

производить духовные микстуры.  
Они нам говорят: пусть время-волк  
тебя пожрет, но сетовать на время

и выбирать другое — что за толк  
и что за пошлость?... Сноска к этой теме:  
в истории на выбор нет времен —

есть несколько «времен» в одной системе,  
и выбор — есть; поборник, если он  
желает жить и стать культурной силой

одновременно, — должен быть смышлен,  
остер иносказательностью милой,  
и выбрать «время» должное и тон...»

### 23.

«Не злоумышленные подлецы,  
пинающие жертву всей ватагой —  
по большей части, люди — мертвецы

с природной подсознательною тягой  
к расправе уровнем. Финал:  
они хотят разделаться с беднягой.

Отец, который только что стenal,  
грозясь издохнуть на глазах у сына,  
старуха-мать, чинившая скандал

сюсюкая, но с цепкостью звериной,  
жена (уже с сожителем) — в каре  
построившись, придвинулись к невинной

убогой жертве... Здесь конец игре.  
Они срывают ширму — хвост крысиный  
мелькает... Он уполз. Исчез в дыре».

### 24.

«Культура полуправд-полусвобод  
любезна тирании как посадка  
гуманности для тех, кто идиот.

«Я древний мир периода упадка».  
К такой культуре склонны ИТР —  
они в ней слышат критику порядка

одновременно с музыкою сфер —  
есть повод упиваться осторожно  
своим всепониманьем, например.

Культура же, прислушиваясь сложно  
к тому, что потребляет адресат,  
уже не может действовать оплошно...

Кому и чем обязан я, мой брат?  
А. А., сказав «прислуживаться тошно»,  
напрасно произнес «служить бы рад»...

P.S. Непозволительна оплошность  
изящному искусству придавать  
чрезмерное значение — и пошлость,

и музыка, и водочка — под стать  
изящному во всем, когда б не сложность:  
последнее их склонно презирать.

Поборникам блюсти бы осторожность —  
им равных нет в искусстве ублажать».

## 25.

Сгребают листья. Осень. Проходным  
идешь двором от улицы Рентгена...  
куда?... куда-то... С воздухом родным

вдыхая горечь лиственного тлена.  
Приземистый голубоватый дым.  
Мерцающие, гаснущие хлопья

сухой листвы, сорвавшейся с огня...  
И старшеклассник, глянув исподлобья,  
попутчице укажет на меня

насмешливо — во всем мое подобье  
двадцатилетней давности, родня.  
Все более неправильною дробью

расходимся навек в пределах дня.  
«Наглядное, — он шепчет ей, — пособие...»  
И я ему: «Не нервничай, фигня...»

26.

«Светает. На работу. Быстрый штрих  
ветвей заденет зрение. До стужи  
шаг не дойдя, мир осени притих,

и что ему построчный мир досужий...  
Когда бы он услышал этот стих,  
он, верно, изумился бы далеким

от истины созвучиям, — объем,  
не знающий о низком и высоком,  
с косым штрихом ветвей на голубом.

(Душа, как лаборантка, ненароком  
об эту колбу стучается лбом...)  
Смешно, что аварийная есть парка,

свивающая нить моей судьбы  
рабочей. На работу (как — насмарку)  
я направляю нежные стопы».

27.

«Смеркается. Мне солнце прямо в мозг  
садится, и на левом полушарье,  
я чувствую, горит, как в Энсе мост.

Что в полутьме, Павлушенька, нашарю?  
Вот тумбочка. Вот я протянут в рост.  
Сопит сосед. Тридцатый февруарий.

Расположенье пагубное звезд  
сказалось на здоровье. Мякоть мозга  
горит в закатном солнце. Недосуг

собрать актеров. Мозг слабее воска.  
Теряю очертания. — Недуг  
всеобщий и поэтому не броский.

Пришел биологический какук.  
Не атомный отнюдь и не заморский.  
Наш собственный. Целую. Питер Брук.

P.S. Припоминается Владимир.  
Он жив ли, прозаический твой друг?»

28.

«Светает. И пока слепит рельеф,  
и синева подобна синеве лишь  
(но — большей) и сквозит между дерев,

пока еще глазам своим не веришь,  
что это мост в ночном стоит поту,  
и ты его хребет шагами меришь

и с этой стороны идешь на ту,  
пока не древнегреческие воды  
штурмует двойка девушек в цвету,

пока ладья затянута под своды  
в гудящую сырую темноту,  
вымелькивая справа от свободы

твоей души, — душа твоя пока  
слепящие явления природы  
утроила (удвоила — река)».

29.

«Смеркается. Я всматриваюсь в у-  
скользнувшее почти-двадцатилетье...  
Театр сдох, но я еще живу...

Нужны единомышленники... в свете  
задуманной трагедии... Канву  
я выше изложил... Но... как их... эти...

они безмозглы... Чем я их смешу?  
Прощай... Твой Мейерхольд в глубокой яме...  
(Есть девочка... О девочке шу-шу:

ее в советском вытошнило храме  
и к нашему прибило шалашу  
(историк, поскандаливший с властями —

пощечина гэбисту? — не скажу  
наверняка)... Что делать со страстями?  
Она прекрасна. С девочкой дружу)».

30.

«Совсем светло. В зрачки уходит парк  
осенний, и берет от цвета округ —  
карминовая, алая, краплек,

лимонный кадмий, вкрапленные в мокрый  
куст бисерный длиною в быстрый шаг,  
и к ним сиена жженая и охра —

все разом, и компанию дворняг  
приветствует стрелок могучий ВОХРа  
железной миской... Кто его замел

в природу этой осени, обильно  
пропитанную светом, кто приплел  
к тому, что мной описано столь сильно...

(Владимир жив. Влюбляет женский пол  
в себя исправно. Проза инфантильна.  
Печатается, плача мне в подол)».

30.

«Совсем темно... Мерещится атлант,  
руками обхвативший свой затылок...  
Зачем окаменел его талант?...

Здесь гибнет все. Здесь светится обмылок.  
Здесь тот, кто не обмылок, — арестант.  
Сейчас курю в компании опилок

и хлорки... Не до писем... Фердинанд».

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

32.

«Но есть среди подробностей живых —  
запавшие в молчанье, вроде клавиш.  
Не знаю ничего, не помню их.

Ни слова во спасенье не прибавишь...  
Ни имени не зная, ни страны,  
ни о душе не зная, ни о теле,

мы в этот миг вполне воплощены,  
и зеркалу, в которое смотрели,  
преображенные, возвращены...»

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

«Выписывают девочку... Влюбись...  
Она мне человек не посторонний —  
наоборот. Хотя не из актрис —

наоборот... Я чувствую погони  
тяжелый дых в затылок. Оглянись —  
и ты пропал, они уже на склоне

и кинуться готовы сверху вниз...  
Звени, мой колокольчик, взвейтесь кони,  
несите меня с этого... Но тс-с...

Они вошли... Цикуты мне, цикуты...  
Павлушенька, живи наоборот...  
Но тс-с и тс-с. Я прячу атрибуты

безумия, как выразился тот,  
кто создал нас в счастливые минуты  
(убил бы, встретив) творческих забот».





**ПЯТАЯ ГЛАВА**  
**(дневник Владимира)**

Не было преступления, которого бы  
я не совершал...

*Л. Толстой, «Исповедь»*

1.

Пятнадцать строк. Дневник как штрих-пунктир  
событий, размышлений, разговоров,  
подробно образующих твой мир

в течение суток. Лик его и норов.  
Присматривай за ним, как конвоир.  
Теперь — вперед. Вдоль каменных заборов.

Вдоль проблесков, а также черных дыр  
сознания. Вдоль сада. Вдоль узоров,  
решетчато лежащих у ног.

Твой мир в течение суток. Двух просторов —  
внутри и вне — слияние, итог.  
Вперед, вперед. Оглядываться поздно.

Возврата нет. Ты пойман. На порог  
ступая, оглянись: свежо и звездно.  
Прощай, свободный мир. Пятнадцать строк.

2.

Поминки. Перед этим душный морг.  
Смотрю вверх припудренного. Плохо  
мы выглядим, ведя с Хароном торг.

Пиджак в цветах. Ни выдоха, ни вдоха.  
Поминки. Истерический восторг.  
Скулит овчарка. Горе без подвоха.

Скорбящий друг рыдания исторг.  
Зато жена — сплошное избавленье.  
Супруг погибший бил ее, как мог.

Все разошлись. Жара. Совокупленье.  
Скулит овчарка. Скука. Есть ли Бог.  
Почти оранжерейный запах тленья.

Зачем я с ней остался. Потолок.  
Покойник здесь. Смертельное томление.  
Вцепившийся в портьеру мотылек.

3.

Ночь. Ей хотелось нежности. Жара.  
Зачем я с ней остался. Ночь как вечность.  
Жена. Скорей бы. Девушка вчера.

Марина. Небо. Звезды. Бесконечность.  
У Павла с ней роман. Прощай. Пора.  
Трусы. Рубашка. Улица. Светает.

Что врать жене. Да что-нибудь. Мура.  
Пора. Скулит овчарка. Дух витает.  
Прости меня, мой дух. Так не скорби.

Ей нежности хотелось. Жизнь истает.  
Прощай. Пора. На улице би-би.  
Опять заело. Молния. Листает

листву соседний тополь. Не глупи.  
Я позвоню. Пух тополя влетает  
в окно как дух исчезнувшего. Спи.

4.

Позор побега. Мир четверолап.  
Обряда нет. Дыра на месте веры.  
Ключ за подкладкой. Здравствуй, умный раб.

Что нас порабощает. Чувство меры.  
И логика. Мура. К утру ослаб.  
Осла б. Осла б. А лучше — золотого.

Что врать жене. Да что-нибудь. Нахрап.  
Искусство жить первой искусства слова.  
Нахрап ума и совести накрап.

Известно кто кого. Как мир, не ново.  
Накрапывает. Телу нужен душ.  
Душа. Марина. Где первооснова.

Где неба синева. В раздробе луж.  
Святого нет. Что делать без святого.  
Трамвай. Билет. Поехали. Все чушь.

## 5.

Отец и мать. Затверженная жизнь.  
А вот и ключ. У деда-старовера.  
Ты пил вчера. Ни капли. Постригись.

Наследственность для духа полумера.  
Поешь. Позор побега. Барсик, брысь.  
Дистанция огромного размера.

Побеги в этой тьме не принялись.  
Наш Барсик заболел. Ты слышишь. Внемлю.  
Марина. Постригись. О ней, о ней.

Жить где-нибудь на Псковщине. Рыть землю.  
Доискиваться дедовских корней.  
Скребут на сердце Барсики. Затем ли

живу, чтоб умереть в один из дней.  
Поешь. Уйди из ванной. Не приемлю.  
Спросить у Павла. Гениям видней.

## 6.

Безумие с утра. Отец и мать.  
Трагедия Олега. Все похоже.  
С кого писал. Прощаю. Не прощать

нам не пристало. Заповедь дороже.  
Дай треху. С легким паром. Как сказать.  
Здорова ли жена. Не знаю. Ужас.

Что рукопись. Подписана в печать.  
Вступи в Союз. Пожалуй. Поднатужусь —  
и стану членом. Вынеси ведро.

И стану членом. Деточка. Разрушусь.  
Помойка. Требуховое нутро.  
Пора. Ты не просох еще. Дай треху.

Я не просох. Четвертое ребро  
на левой стороне мешает вдоху.  
Пятнадцать строк. До завтрава, перо.

## 7.

С кого писал. Прощаю. Требуха.  
Храм из окна Господень. Склад для хлама.  
Беру в рассказ. Но самые верха.

Какой рассказ обходится без храма  
сегодня. Притяжение греха.  
Храм из окна Господень. Склад для хама.

Дать атмосферу. Облачно. Тиха,  
пустыня внемлёт Богу. Холст и рама.  
Портрет в пейзаже. С дьявольским ха-ха.

Что врать жене. Ты пил вчера. Ни грамма.  
Вступи в Союз. Пожалуй. Мать плоха.  
Звонок. Очнись. Тебя. Очнулся. Дама.

Твой голос. Это я. Прошли века.  
Рад слышать. Как живешь. Сплошная драма.  
Ты плачешь. Да. О, времени река.

## 8.

Твой голос. Ты. Володенька, спаси.  
Он бьет. Он издевается. Он изверг.  
О ком ты. Ах, о муже. На Руси

случается. Зима. Фонарный высверк.  
Решетка сада. Редкие такси.  
Прошли века. Не помнишь. Отчего бы

не помнить. Я люблю тебя. Мерси.  
Но я женат. О сколько в мире злобы.  
Зла не держу. Поэзия. Февраль.

Я без ума от некоей особы.  
Она актриса. Оленька, мне жаль.  
Как ты жесток. Михайловский. Сугробы.

Евгений. Элегантный, как рояль.  
Актеров ненавижу. Узколобы.  
Алле, алле. Ты слушаешь. Едва ль.

## 9.

Невероятно. Оленька. Вернуть.  
Простить. Жена. Пускай бы заболела  
и умерла. Исчезла как-нибудь.

Проблема в чем. Избавиться от тела.  
Он бьет. Он издевается. Забудь.  
Михайловский. Забудешь ли. Брожу там.

Минувшее иссушивает грудь.  
Евгений. Бьет. Отныне по минутам  
беру реванш. Мы квиты. В этом суть.

Покойник тоже бил. Прямым маршрутом  
плывет а Аид. Поминки. Ночь. Скулеж.  
Зачем я там остался. Ночь. Поминки.

На что похожа смерть. На дважды ложь.  
На новенькие черные ботинки,  
которые нам видимы с подошв.

10.

Пора. С кем ты беседовал. Постель.  
Очнись. Иду. Стенания вакханки.  
Лаиса. Ешь. Лаиса и свирель.

Воображенье — то же, что и танки,  
подмявшие культурный регион.  
Бегут благообразья иностранки.

Огурчик. Ешь. Понесшая урон,  
болит душа. Минувшего останки.  
Не нервничай. Фальшивый этот тон.

Он в жизни нехорош. Он в прозе гнусен.  
Как избежать. Ты чем-то огорчен.  
Вот Павел. И умен и безыскусен.

Ее глаза. Марина. Я влюблен.  
Доешь, сынок, огурчик. Он безвкусен.  
Наш Барсик заболел. Не сдох бы он.

11.

Пошел. Пора. Супругу береги.  
И главное не нервничай. Не буду.  
Не завернуть ли в храм. Болят мозги.

А то бы помолился, что ли, чуду.  
Покаялся бы. Дескать, не пекусь  
о ближнем. Не пекусь и предан блуду.

Подруга. Восклицанье Коли «Русь,  
куда ж несешься ты?» — высокомерно.  
Подруга. В этом доме. Поднимусь.

Жара. Все нарастающая. Скверно.  
На лестнице прохладней. Смертный грех  
притягивает медленно, но верно.



Подруге эротических утех —  
поклон. Смеется. Громко и манерно.  
Ужасен лошадиный этот смех.

12.

Подруга. Ты смертельно хороша.  
При том, что подурнела, и — заметно.  
Хохочет. Что ты ржешь, моя душа.

Я радуюсь. Чему же. Беспредметно.  
Позволь облобызать твой дивный лик.  
Отстань, нахал. Одну безешку. Нет. Но

всего одну. Отстань, нахал. Язык  
уходит в альвеоловые глубли.  
Здесь в мыслях неизбежный перепрыг.

Когда-то я втолковывал голубе  
основы геометрии. Читал  
с ней сообща стихи про цепь на дубе.

Подтягивал. Вон там. Отстань, нахал.  
Что он Гекубе, что ему ге в кубе.  
Хохочет. Широко. Во весь оскал.

13.

Смерть. Где-то здесь. Не дышит. Как в шкафу  
любовник из плохого анекдота.  
Как ф.и.о., занесенные в графу.

Запри. Зачем. Я стражду. Не охота.  
И кстати: не работает замок.  
Плутовка. Не починишь ли. В два счета.

Жара. Задерни шторы. Есть ли Бог.  
Вот ключ. Теперь вставляй его. Не входит.  
Дай я сама попробую. Ты взмок.

Жара. Сними рубашку. Кто-то бродит.  
Сосед на кухне. Топают как слон.  
Вошел. Идет направо — песнь заводит.

Смерть. Где-то здесь. Любовницей пленен,  
любовник от жары уже исходит.  
Вот-вот из шкафа вывалится он.

14.

Мура. Все как задумано. Не зря  
впадаешь то и дело в смерть. Во-первых, —  
забвение. И дальше: воспаря

всем трупом из тяжелых топей серных  
к прекрасному, — живой лелеешь стыд.  
Вот узел. Суть. Нет веры без неверных.

Я Вера. Ты неверный мой. Острит.  
Прощай. Среди красавиц беспримерных  
ты перл. Налево сказки говорит.

Вон там. Прощай. А в пору удалую  
ты проявлял резвее аппетит.  
Ослаб. Осла б. Как прежде — не балую.

Что из тебя посыпалось. На чай.  
Нахал. Дыра в кармане. Брысь. Целую  
персты и перси. Ладно уж. Прощай.

15.

Приход к себе. Прихожая. Дыра,  
в которую уполз герой Олега.  
День. Тишина. Пора, мой друг, пора.

День. Подоконник. Голубя ковчега  
не видно. Никого. Позавчера.  
Каморка Павла. Дверь чуть приоткрыта.

Два голоса. На цыпочках. Жара.  
Подслушиваю. Он: свеченье быта.  
Она: я понимаю. Скрип. Вхожу.

Ее глаза. Два черных. Жизнь разбита.  
И тотчас, тяготея к миру  
иль к мифу, — голубь. Сел. На подоконник.

Знакомься. Непременно. И ежу  
понятна суть. О, мученик. О, хроник.  
«О, небо!», как Сальери, возглашу.

16.

Все пусто. Не вернуть и не настичь.  
Жена. Из видов смерти — катастрофа  
мгновеннее других. Сплошная дичь.

Желанье — добровольная голгофа.  
Недаровитых пагуба и бич.  
Смирись. Ее расческа. С волосами.

Смирись. Их должно резать или стричь.  
Все пусто. Невозвратно. Спать часами.  
Укрыться с головой и спать. Не хнычь.

Вот рукопись. Художник. Где-то в храме.  
Разрушенном. Он пишет в нем пейзаж,  
в который вписан сам. Двумя творцами

и создан мир. Так вот. Второй пассаж  
есть подражанье первому, но нами  
исполненный, он вычурная блажь.

17.

Глаза Марины. Ах. Ее глаза.  
Ее. Ах эти черные. Ах эти.  
Меня пленили. Павел. Мы друзья.

Кто верует. Тепло ему на свете.  
Подслушиваю. Он: без вас нельзя.  
У них роман. Ах, ах. Вхожу. Не входит.

Дай я сама попробую. Стезя  
страстей — великих опусов не родит.  
Рыть землю. Примириться. Два перста.

Художник. Дело к ночи. Непогодит.  
Не различить ни кисти, ни холста.  
Спускается в подвал. Там леший бродит.

Русалка. Чушь. К Марине. Жизнь пуста,  
когда с ума нас кто-нибудь не сводит.  
К ней. Объясниться. Нет на мне креста.

## 18.

К ней. У нее. Спокойна. Весь дрожу.  
Молчит. Я одинок. В подвал рассказа  
пускаюсь за художником. Брожу.

Вдруг в полумгле горящие два глаза.  
Вы слушаете. Слушаю. В углу  
он видит крысу. Старая пролаза

перетирает лапками золу.  
Ты кто. Хохочет: я твое подобье,  
я часть добра, приверженная злу.

Тогда, как прошлый мальчик, исподлобья,\*  
герой швыряет живопись в нее,  
и топчет живописное надгробье,

и в ярости, впадая в забвенье,  
он прекращает их междуусобье.  
Я тороплюсь. Вам скучно. Не мое.

---

\* — позаимствовано Владимиром у автора (гл. 4, строфа 25).

## 19.

Я одинок. Я жалок. Я, я, я.  
 Не обижайтесь. Что вы. Мир подобий  
 взаимных, симметричность бытия

совсем не по душе моей особе.  
 Я не люблю культурную игру.  
 Намеки и подмигиванья, что бы

ни означали, мне не по нутру.  
 А впрочем я профан. И превосходно.  
 Свежее взгляд. Простите, я спешу.

Я вас люблю. Увы, я не свободна.  
 Проваливаюсь в тартар, но дышу.  
 Мне очень жаль. Еще бы. Благородна.

У них роман. Покорнейше прошу  
 прощения. Не надо. Как угодно.  
 Я презираю все, что я пишу.

## 20.

Я жалок. Любит Павла. Но не ей  
 меня судить. Сугубо русских соков,  
 бродящих как-никак в душе моей,

не знает. Путь обратно. Тьма пороков  
 содержит свет. Я раб — я червь — я Бог.  
 Она права. Все пишут как Набоков.

Как кто-нибудь. Ирония, намек,  
 известная эстетская сноровка,  
 и прочее. Нажать бы на курок.

Увы, я не свободна. Полукровка.  
 Не ей меня судить. При чем тут кровь.  
 «Я вас люблю» — всего лишь упаковка

бессилия. Какая там любовь.  
Отчаянье, упорно и неловко  
и тщетно маскируемое вновь.

21.

Домой. Темнеет. Хватит. Что за тип.  
При чем тут кровь. Домой. Темнеет. Морда  
овчарки. Есть ли Бог. Зачем прилип.

Мне очень жаль. Ну-ну. Какого черта  
он бродит по земле. Ведь он погиб.  
Кто жив, кто мертв. Черта, похоже, стерта.

Она права. Еще бы. Детский всхлип.  
Беру в рассказ. Покойник. Прочь, нечистый.  
Скрывается. За изгородью лип.

Иль тополей. В туманности пятнистой.  
Все пишут как Набоков. Без его,  
однако, хищноглазой и когтистой

любви к живому. В чем и существо  
вопроса. Пожалейте атеиста,  
не знающего жизни вещество.

22.

Темнеет. Всхлип. Кто жив, кто мертв. Шагну —  
и в смерти. Раз. И в смерти. Два. И в смерти.  
Проверить. Вот рука. Сейчас согну.

Сгибается. Не умер. Твердость тверди  
и воля — доказательство. Жену  
убил бы, друга тоже. Бог в той мере

отсутствует, что смею в с е. Ну-ну.  
Плюнь в Божий лик. Пожалуйста. По вере  
не воздается вовсе. Впрочем, Бог

присутствует в самой Его потере.  
Темнеет. Скука. Лестница. Порог.  
Убил бы всех. Христа никак не звери

распяли. Только люди. Я бы мог.  
Распять Христа, подслушивать у двери —  
одно и то же. Комната. Звонок.

23.

Звонок. Уж не покойник ли. Иду.  
Алле. Узнал. Покойник, но не этот.  
Как жизнь. Готовлюсь. К Страшному Суду.

Бесчинствую. Конечно. Чудный метод.  
Да что ты говоришь. А с кем. К стыду  
не ведаю. Чернявый. Белобрысый.

Спасибо за донос. Сейчас сойду.  
Шучу. Алле. Горжусь своею кисой.  
Где видел, говоришь. На Невском. Срам.

Убью, когда придет. Художник с крысой.  
Ты обознался. Ладно. В Божий храм  
иду. Шучу. И ты. Гудки. Квартира.

Пуста. Гуляет. Сукой по дворам.  
Помоечная тварь. Дерьмо сортира.  
Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.

24.

Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.  
Та-та. Та-та. Та-та-та-та-та-та.  
Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.

Та-та. Та-та. Та-та-та. Та-та-та-та.  
Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.  
Та-та. Та-та. Та-та-та. Та-та-та-та.

Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.  
Та-та. Та-та. Та-та-та. Та-та-та-та.  
Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.

Та-та. Та-та. Та-та-та. Та-та-та-та.  
Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.  
Та-та. Та-та. Та-та-та. Та-та-та-та.

Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.  
Та-та. Та-та. Та-та-та. Та-та-та-та.  
Та-та. Та-та. Та-та-та-та-там.

## 25.

Жара. Уснуть. Зарыться. Лифт. Шаги.  
Над головой. Зарыться в сон. Хорош он  
тем, что ни жизнь, ни смерть. Почти ни зги.

Какой-то полутьмою припорошен.  
Каким-то полусветом оживлен.  
Ни то, ни се. Кошачий крик. Истошен.

Страданье символично. На балкон.  
На кухню. На балкон. Все гордость. Да ведь  
и Лествичник, и Новый Симеон

считают, что нельзя на гордость ставить.  
Никак нельзя. А страсти — усмирить  
советуют. Ни вычесь, ни прибавить.

Клопов такими средствами морить.  
Что есть искусство. Дар темнить, лукавить,  
заигрывать, кокетничать, не быть.

## 26.

Измена. Полдвенадцатого. Ад —  
есть время. Сон вне времени, и тем он  
как раз хорош. Поручик был бы рад



ни жить, ни умирать. Замучил демон.  
И Бог не дался. Бедный мой собрат.  
Страшна идея. Сон же бессистемен.

Уже второй. Должно быть, отдалась.  
Стенания вакханки. Шорох. Кто там.  
Чернявый. Прочь, нечистый. Скука. Грязь.

Валяются и дышат. Пахнут потом.  
Кряхтят, сопят и квохчут. Ипостась  
любви с непритязательным полетом

фантазии. Шаги. Щеколда. Ключ.  
Щеколда. Ключ. Вошла. Вдвоем с Эротом.  
Вот бог богов. Воистину могуч.

27.

Жена. Не спишь. Не сплю. А что. Ты где  
была. У ЭС. А ты. Я на поминках.  
Как время провели. Да так. В питье.

Почти. Слезай. Зачем. Лежишь в ботинках.  
Чему подобна смерть. Как раз чете  
двух черных. Где была. У ЭС, сказала ж.

Мне донесли. И что же. Белобрыс.  
Кто белобрыс. Твой хахаль. Зубы скалишь  
напрасно. Отвали. Убью. Проспись.

Дерьмо. Мерзавец. Сука. Ты отвалишь  
с дивана или нет. Паскуда. Брысь.  
Ты с ним спала. Спала. И как. Валетом.

Пощечина. Кричит, куда-то вниз  
летя. О, руководствуясь Заветом,  
прощу ее погубленную жизнь.

28.

Прощаю. О прощаю. Подползу.  
Раскаты грома. Ночь. О мир символик.  
Страдание значительней в грозу.

О хохот грома. С молнией. До колик  
то в животе, то в ухе, то в глазу.  
Ты кто. Я христианин-алкоголик.

На четвереньках выть. Подобно псу.  
Ползти и выть. Прости меня, хозяин.  
Поднялся. Лег. Поднялся. Лег. Поверг

небесный гром. Марина. Павел. Каин.  
При чем тут кровь. Раскат и пересверк.  
Под молнией мгновенный мир изваян.

И дерево как черный фейерверк.  
Беру в рассказ. Жена, твой муж измаян.  
Его многострадальный мозг померк.

29.

Безумие. Расслабленный. Прости.  
Мне больно. Как мне больно. Как я плачу.  
Каков итог. Ты видишь. Прах в горсти.

Ничтожество. Умри. На что я трачу  
себя. О пожалей меня. Пусти.  
Ты с ним спала. Спала. О быт собачий.

Кошачий. К двадцати моим шести  
чего достиг я. Скотства, не иначе.  
О я тебя люблю. Марина. Ты

рехнулся. Извини. Ты не Марина.  
Ты Оля. Извини. Для простоты  
зови меня Аглая. Все едино —

любимая. Прекрасные черты  
люблю твои и падаю картинно.  
Подлец. Дерьмо. Зияющие рты.

30.

Трагическая сцена. Тишина.  
Диван. Следы побоища. Юпитер  
луны глядит в окно. Вопит жена.

Муж уползает в кухню. Слезы вытер  
салфеткой и ползет. Кругом страна.  
Через порог ползет. По коридору.

«Будь проклят, негодяй», — хрипит она  
и яростно задергивает штору.  
Ботинки. Швабра. Вдруг, озарена

прекрасным светом, к вящему позору  
скандала, — в муже вспыхивает суть.  
Кругом страна. Вселенная. Он хору

светил приравнен. Ночь. Кремнистый путь.  
Ползет. Но неожиданно опору  
теряет и ложится отдохнуть.

31.

Марина. Павел. Видели бы. Кап.  
Кап-кап. Водопроводный неврастеник.  
Подняться с четырех звериных лап.

Стать членом. Слава. Дача. Куча денег.  
На Псковщине. Гроза прошла. Накрап.  
Ключ за подкладкой. Свой приход. Священник.

Душа чиста. Я Бог — я червь — я раб.  
Портрет в пейзаже. Шорох. Кто там. Веник.  
Зачем прилип. Прости меня, мой дух.

Так не скорби. Хохочет. Беспредметно.  
Зима. Решетка сада. Барсик. В пух  
и прах влюблен. Марина. Безответна.

Не ей меня судить. Одна из двух  
кровей не та. Россия. Худо-бедно,  
она моя. На вкус, на цвет, на слух.

32.

Ночь. На исходе. Пепельный туман.  
Сгоревший мозг. Постукиванье клюва  
о подоконник. Чайник-истукан.

Конфорка лилового поддува.  
Клеенка. В подстаканнике стакан.  
Заварка. Носик сломан. На исходе.

Светает. Голубь. Потное окно.  
Деревья. Сад. Листва. Покой в природе.  
Когда происходило. С кем. Давно.

И не со мной. Кипит. Конфорка. Вроде  
и не было. Глоток. Одно звено  
добавь. Глоток. Еще. Художник чуток.

Эстет. Глоток. Ему не все равно.  
Дневник с перечисленьем скверных суток  
дополни оглавленьем. Вот оно.

33.

Пятнадцать строк. Поминки. Ночь. Жара.  
Ее глаза. Рассвет. Позор побега.  
Отец и мать. Безумие с утра.

Отец и мать. Трагедия Олега.  
С кого писал. Прощаю. День. Пора.  
Звонок. Твой голос. Ты. Невероятно.

Пора. Пошел. Подруга. Смерть. Мура.  
Приход к себе. Все пусто. Невозвратно.  
Глаза Марины. К ней. Я одинок.

Я жалок. Любит Павла. Путь обратно.  
Домой. Темнеет. Хватит. Есть ли Бог.  
Звонок. Та-та. Та-та. Жара. Измена.

Жена. Прощаю. Лег. Поднялся. Лег.  
Безумие. Трагическая сцена.  
Марина. Павел. Ночь. Пятнадцать строк.

## ШЕСТАЯ ГЛАВА

неправильно говорить, будто я познал слова «я люблю тебя», я познал лишь тишину ожидания, которую должны были нарушить мои слова «я люблю тебя», только это я познал, ничего другого.

*Ф. Кафка, Из дневника*

1.

Тот город, по которому бродил,  
вгоняя в черновик за строчкой строчку...  
А впрочем так: блажен, кто посетил

сей мир. Здесь и поставил бы я точку.  
Минутам роковым не посвятил  
ни слова я. В ночи воображенья

возникли тени. Я им посветил —  
и все дела. Какие возраженья?  
Тогда — последний шаг. Одной главы

я не добрал до самовыраженья.  
Вы пишете? И правильно. А вы?  
Напрасно. Отойдите, здесь движенье.

Идет Марина. Запахом листвы  
овеяно романа продолженье.  
Строчу не поднимая головы.

2.

Марина навещала иногда  
безумца, но из прошлых бормотаний  
ей вспыхнула не зря белиберда

вчерашня. Без знаков препинаний  
Олег бубнил бесцветно, никуда:  
«мелькнув хвостом душевных трепетаний

и в клочья разрывая невода  
в глухом подвале храма испытаний  
очнулся мой собрат по неуму

меж тем как он уснуть навеки чаял  
в золу зарыв свой корпус по корму  
ты кто охрипшим голосом пролаял

творец преображенному ему...»  
Добормотав, Олег полурастаял,  
точнее — погрузился в полутьму.

### 3.

От столкновенья как бы под землей  
двух замыслов (как выяснилось, в драме  
Олега охвостившийся герой

прогрыз дыру к художнику во храме),  
от столкновенья замыслов — земля  
качнулась у Марины под ногами.

Владимир (от себя добавлю: тля)  
смутил ее спокойно-ясный разум  
не столько поворотами руля

интимными, сколь муторным рассказом.  
Тревожась за Олега, отчего  
не зная, но в невидимое глазом

проникнув или чувствуя его,  
она пошла к дурдому... (С каждым разом  
все тяжелей рифмуется на «во»).

### 4.

Уже поблекло солнце. Летний день  
сворачивал последние манатки  
и удалялся в лиственную тень.

Мост, положив себя же на лопатки,  
дрожал в реке, и нижняя ступень,  
прихлебывая, в час по чайной ложке

пила волну. Летела дребедень  
все с тех же тополей. Сидели кошки  
в подвальных окнах, вдруг, как некий мим,



вытягивая ручки или ножки.  
Над фабрикой вдали струился дым,  
перекликаясь с этой пантомимой

и цветом и движением своим.  
И думая, возможно, о любимой,  
шел нелюбимый, Господом храним.

## 5.

Тебе хотелось лирики? Бери.  
Пусть тусклый свет вползет в прямоугольник  
окна. Закрой глаза. Теперь смотри.

Вот человек идет. Он бывший школьник.  
Спроси про дважды два — ответит: три.  
Он так непрост. Он сумрачный невольник

своих идей. Закрой глаза. Сотри  
случайные черты. Представь картину  
той баснословно-девственной поры:

в гостях на елке девочку Марину  
(не мудрено: соседние дворы,  
она живет у бабушки, в старинной

квартире), золоченые шары,  
густеющие капли стеарина,  
и вдруг ее уход в разгар игры.

## 6.

Все то, что там не сказано, теперь  
пытается сказать себя. Я верен  
тому, куда таинственная дверь

за ковриком ведет. Но ключ потерян.  
Там огниво хранит косматый зверь,  
и пламя вырывается из пасти

косматого... Там узкий брезжит свет  
под дверью. Ты один. И все напасти  
ночные — при тебе. Что детство? След

ладони на стекле. Черно. Ненастье...  
Потом, словами траченный поэт  
к нему проявит нежное участие.

Но детство тем значительней, что нет  
заботы восклицать: какое счастье!  
Там не о н о, там ты скорей воспет.

## 7.

Тот сумрачный невольник процедит:  
«Абсурд, мой друг. Ты в поисках с Марселем  
утраченного времени — закрыт

для сущего». Отвечу: «Как разделим?»...  
Зайдем в подвальчик вытравить свой стыд  
и языками пьяными помелем.

А между тем, как в прописях, куда  
слеза упала, пущенная плаксой,  
жестокий мир (уже в обход стыда)

предстанет расплывающейся кляксой.  
Податливый, ручной, он без труда  
вильнет к тебе доверчивою таксой.

Возьми его и рядом положи,  
и приласкай. А ночь свою ваксой  
все зачернит. Ты спишь? Спокойной лжи.

## 8.

Абсурда нет. Есть только абсурдист,  
суть — человек, уставший от культуры.  
Не верь ему. Он на руку не чист.

Пусть отрокам прыщавым строит куры.  
Когда преобразает белый лист  
стихотворенье правильной фактуры,

сермяжные вопросы бытия  
(допустим, время) — попросту помарка...  
И если записал когда-то я,

что дворничиха, старая татарка,  
из прачечной несет мешок белья  
(ее сережки вспыхивали ярко,

как вдруг растормошенная зола),  
то эхо специфического шарка  
ты слышишь и теперь из-за угла.

## 9.

Но иногда... не дышится, и впрямь  
он замысла разумного не видит  
и падает в одну из волчьих ям

абсурда, и клянет, и ненавидит  
себя... Как рассыпающийся хлам  
его существование предстанет

ему... И озлобленье пополам  
с бессилием — затреплют... Он устанет...  
(И то сказать: на воле, как в тюрьме...)

К Владимиру вернуться? Нет, не тянет.  
Что будет с ним? Утешится в семье,  
крестит свое дитя, издаст книжонку,

и будет жить в занудливом уме,  
и поддевать, выгуливая женку,  
небесные кальсоны по зиме...

10.

Но иногда, бормочет, иногда...  
душа мертва... и тень самоубийства  
кружит волчком... ни мысли, ни труда

любви, ни аполлонова витийства  
тем более, ни друга, ни черта...  
Уныние и скука... как с похмелья...

поднимется... закурит... не заснуть...  
безумных лет угасшее веселье...  
и эта тень... не знаю... чем не путь...

ты ждал квартиры... чем не новоселье...  
нет ничего и не было... забудь...  
сиди всю ночь на скомканной постели...

о чем ты говорил... какая суть...  
чушь... чепуха... нелепость, в самом деле...  
Что е с т ь, Марина? Е с т ь ли что-нибудь?

11.

Она сказала: «Помните приход  
врача, когда ты болен, но не очень,  
его звонок, волнение свое,

два голоса, короткое топтанье  
в прихожей, дайте ложечку, скажи  
«а», «а-а-а», дыши, еще, поглубже,

взгляд на обои мертвый, не дыши,  
сердцебиенье перед приговором,  
и наконец он вынесен, рецепт,

три раза в день, уход врача и эта  
свобода, не сравнимая ни с чем:  
все пусто, тишина, с тобою книга...»

Затем она сказала: «Я пришла», —  
и мы простились. ....  
.....

## 12.

Помечу тридцать первым декабря  
последние события романа.  
В романе автор вроде главаря.

И замысел как заговор. Но рано  
иль поздно он раскроется. А зря.  
Хорош был Пушкин в роли атамана.

Мы послабее мягко говоря.  
Роман не удался. Его герои  
статичны, да и бедность словаря...

Осада продолжалась дольше Трои  
по меньшей мере раза в полтора.  
Се — мания величия. Порою

я уставал, но «шалости пера»  
возобновлялись. Нынче же покрою  
(чем?) расстоянье полностью. Пора.

## 13.

В котельную, где я тогда служил,  
съезжались гости (помните начало  
у Пушкина? Толстой его любил)...

В котельную, как выше прозвучало,  
где небо я лет пять уже коптил,  
съезжались гости... Так... Мой Дом Фонтанный

был двухэтажный, в сущности, утиль.  
На набережной. В сущности, туманной.  
Невы ль? Кто догадается? Не вы ль?

И все-таки? Оставлю безымянной.  
Повествование — правда, но не быль.  
Ах, находясь в зависимости странной,

достраивая купол (или шпиль?),  
я за него в тревоге постоянной:  
меня смущает бойкий этот стиль.

#### 14.

Съезжались гости... Умерший старик  
крючками рук откинул крышку гроба,  
увидел мира вытянутый лик,

встал и протопал, ежась от озноба,  
до двери, я открыл ему на крик:  
«Моя судьба еще ли не плачевна!»

За мертвецом пергаментным впритык  
явилась Рита: «Здравствуйте!» — распевно  
сказала, улыбнувшись старику.

«Без вас я не живу, моя царевна, —  
прошамкал тот, — и с вами не могу —  
я умер, вы читали в некрологе...»

«Читала». — «Опечалились?» — «Угу.  
Не каждый день протягивают ноги  
друзья». — «Не пожелал бы и врагу».

#### 15.

Квадратиком платочка промокнув  
чело, попутешествовав расческой  
вокруг плешины, жалостно вздохнув

«О, Господи!», разжившись папироской,  
ЭМ. сел (ведь не ложиться же) на стул  
и над романом (помните ли?), в доску

зачитанным, как водится, всплакнул.  
По праздникам в особенной печали  
он пребывал, чужого счастья гул,

музыка, смех — ему напоминали  
жену и обожаемую дочь...  
ЭМ. плакал, как ребенок, нервы сдали...

И снегом пересыпанная ночь  
висела наподобье черной шали  
в окне... Я не намерен вам помочь.

16.

Пришли А. А. с Б. Б., Валера, Лев,  
Марина, Павел... Дворничиха Соня  
влетела на метле, как в отчий хлев,

и дворник Толя, что-то ей долдоня,  
казал над ейным ухом страшный зев...  
Владимир, с ним жена его Петрова,

отец и мать Владимира... Подсев  
к тому, кто говорил хотя бы слово,  
мать объясняла: «Тс-с-с!», на телефон

опасливо косясь, как на живого.  
Отец то погружался с храпом в сон,  
то, вздрогнув, поднимался и сурово

(хотя он был сегодня без погон)  
командовал: «Р-равняйся!» — и падал снова.  
Он спал по стойке смирно, как батон.

17.

Пробило полночь. Слово взял мертвец:  
«Товарищи! Теперь, когда я помер,  
я понял суть проблемы, наконец.

Надеетесь воскреснуть? Дохлый номер.  
Проблема в том, чтоб выстроить дворец  
при жизни, соблюдая букву ГОСТа,

а суть — в соединении сердец.  
Поверьте мне, я только что с погоста...»  
Тогда А. А. воскликнула: «За тех,

кто не вернулся с фронта!» Все притихли.  
Б. Б. увидел вазу как на грех,  
схватил ее и грохнул об пол. Псих ли

проклянулся в несчастном... Общий смех  
предотвратил скандал. Супруги сникли,  
и шабаш продолжался без помех.

## 18.

ЭМ. сожалел о том, что дав зарок  
не пить, в который раз его нарушил,  
над ним кружил, снижаясь, потолок,

он полулег на стол и что-то скушал...  
Б. Б. перебирал дверной замок...  
Мертвец болтал, его никто не слушал...

Часу уже в шестом, на огонек,  
печально оживляя эти стены,  
впорхнула Оля, точно мотылек,

и, жалуясь на подлые измены  
любownika, подседа в уголок  
к Владимиру... О, жертвы Мельпомены,

я тоже проиграть полжизни мог,  
иль так же, как Олег, уйдя со сцены,  
попасть в дурдом и сгинуть между строк.



19.

Владимир хмуро встал из-за стола,  
накинул шарф и вышел из котельной.  
И следом — Павел. Высились тела

деревьев за рекой во мгле метельной.  
За друга беспокоясь, Павел шел  
по льду реки — Владимир в беспредельной

тоске с горы моста взирал на дол...  
Увидев Павла, странно улыбнулся  
и вспомнил, как рыдал ему в подол...

И вдруг раздался крик... И я проснулся:  
чернела полынья, поодаль куст,  
к которому утопленник тянулся...

и вновь раздался крик, короткий хруст,  
и вновь, и вновь... Владимир оглянулся:  
покров реки серебряный был пуст...

20.

21.

И я проснулся. Не было гостей.  
Взглянул на стол. Увидел сменный график  
и несколько разрозненных частей

который год не посланного на фиг  
романа для испорченных детей.  
Я подошел и начал равнодушно

перебирать бумажки, на одной  
взгляд задержал, в котельной было душно,  
открыл окно с дымящейся луной,

затем вернулся к рукописи — скучно  
написанное выглядело, зной  
любви, не разрешившейся нимало,

меня томил, как обморок ночной...  
То были письма Павла, для финала  
когда-то приготовленные мной.

22.

(Роман Марины с Павлом, поясню, —  
фантазия Владимира, не боле.  
И если мы к дверям прильнем, ко дню,

когда она возникла поневоле,  
фантазия, — услышим голоса.  
Какой возьмем на пробу? Павла, что ли:

«Окно, вообразите, и гроза,  
и молния, не хуже, чем словами  
все озарив, сцепляет вещи — вся

рассыпчатая жизнь в единой драме  
участвует, за шторами сквозя,  
и место, занимаемое вами,

уже вообразить без вас нельзя...»  
Здесь и вошел мой мученик, ушами  
в три крайних слова с ужасом кося).

23.

«Сплошная неотступность этих дум.  
Ты можешь ли представить мысль, изъятой  
из мозга (отделить от моря шум

прибоя — то же) — есть ли соглядатай  
сних трудов? — но если расколоть  
коробку черепную, мозг, зажатый

в ее тиски, — в свидетелях Господь —  
не мозг, но мысль — измучена тобою,  
вдруг душу обретет твою и плоть.

Еще касаясь зыбкою стопою  
стихии, но уже слепя, как соль,  
реальная, подобная прибою,

от моря отделившемся столь, —  
она взойдет на берег, за собою  
оставив утихающую боль».

24.

«Все только жертв незримых череда.  
И в юности ты ждешь вознагражденья  
за всякий миг духовного труда,

за праведный отказ от наслажденья  
длить наслажденье. Горечь и тщета.  
Награды нет. И гордые виденья

сгорают в чистом пламени стыда.  
И нищенству полуночного бденья  
ты благодарен в зрелые года.

И здесь тебя накроют муки ада —  
ты любишь вновь. Поэт сказал: о, да.  
Страсть не умнеет с опытом, и надо

все начинать сначала, и тогда  
не лучше ли из призрачного сада  
уйти, в нем не оставив ни следа».

25.

«Вся жизнь не дольше мысли о тебе,  
прощай, прощай, прощай, не дольше жажды.  
Сказать «ты значил все в моей судьбе»

могла бы, но не скажешь ни однажды.  
На черный день я знаю два пути,  
и выверен не раз и пройден каждый —

старухой или девочкой, прости  
мне эту вольность, я воображаю  
тебя... Не потому ли и в чести

два призрака, увы, что оба с краю  
всего, к чему ревную, и близки  
небытию — тот аду, этот раю —

не суть — двум разновидностям тоски...  
Но и с посмертной ревностью сверяю  
упорное дыхание строки».

26.

«Есть несколько прекрасных мест, одно  
из них любимей всех, — я старомоден,  
но сердце все же в трепете, оно

на то и сердце, — лучшая из родин  
вот: Кировский в ночную пору мост  
и воздух, золотист и черноплоден...

О этот путь к тебе под небом звезд  
(высокого волнения мелких своден)  
со стрелчатым собором в полный рост —

мне более других путей угоден.  
Люблю тебя. Язык мой слишком прост.  
Я знаю. Но сегодня я свободен

так говорить. Прости, мне все равно.  
Тем более, что путь как будто пройден,  
и ты со мной, ты здесь, ты заодно».

## 27.

«Как жизнь в стихах, так явь мои и сон  
развертывались, подразумевая  
влюбленности волнующийся фон.

Я вижу: ты выходишь из трамвая,  
и воздухом твой профиль позлащен,  
ты щуришься, ладонью прикрывая

глаза, и нерешительно стоишь  
вполоборота, нежная, живая...  
Как бабочка, всю бархатную тишь

цветка вобрав, торопится к другому, —  
так и влюбленность. Жаль, что это лишь  
мгновенье, прерывающее дрему.

Но хорошо, что скаты влажных крыш  
еще блестят, и тыходишь к дому,  
и медлишь, и весне благоволишь».

## 28.

«Ночные, дорассветные часы,  
что я провел под окнами твоими,  
как юноша, в испарине росы,

Марина, лишь до времени таимы...  
Но нынче, говоря, я расстаюсь  
и с ними и с тобой, тревожа имя

любимое, и больше не таюсь.  
Случалось ли тебе в воображенье  
так пережить небывший наш союз

(я знал твое малейшее движенье  
по комнате) в той степени, что вся  
реальность — лишь позор и поражение:

то пошло ухмыляясь, то кося,  
как в зеркале кривом, в ней отраженье  
искажено, и вместе быть нельзя».

## 29.

«Есть средство безупречное, оно  
утишит боль невстречи: сигарета,  
за шторой, чуть отдернутой, окно —

прозрачная граница тьмы и света —  
и мысль о смерти. Лакомый набор,  
врачующий несчастного поэта.

Мне он противен с некоторых пор.  
Доступное смирение. Довольно  
подглядывать за тьмою из-за штор.

Прощай же. Как бы ни было мне больно,  
я этим не воспользуюсь. В упор  
не вижу тьмы, а вымысел настольный

лишь укрупнит разлуку ли, раздор,  
стежками строк и с точностью игольной  
прошив стократно гибельный узор».

30.

«Не вмешиваться в жизнь того, кто так любим, как ты — о, это все, что в силах мы сделать для него. Совсем пустяк.

Особенно, когда водица в жилах.  
Для Гамлета готов дверной косяк.  
Пусть прислонится, думает о милых.

Пусть за него решает Пастернак.  
Поскольку в жилах кровь, а не водица  
и жар в крови поскольку не иссяк,

есть основания верить, что страница  
заполнится существенным стихом,  
затем — есть основания удивиться,

что схима отречения тайком  
в стихе сумела так преобразиться,  
что отыграла счастье целиком».

31.

«Предметы мира столь освещены,  
озвучены, полны такого смысла,  
что все соображенья не верны —

пусть даже и точнее они, чем числа —  
о тлене, о греховности, вины  
не знаю за собой, и вовсе кисло,

когда распалены говоруны,  
опасно проповедуя и мысля.  
Все это пошлость. Варварской страны

мне безразличны ханжество и окрик.  
Тугое натяжение струны.  
Не потому ли все имеет отклик,

что зрение и слух обострены,  
как если бы искал я всюду облик  
твой. Безупречный. Прочие — темны».

32.

«Черты запечатленного лица.  
Под своды век, под матовые своды  
с крестами рам идут, как два слепца,

очерченные четко небосводы —  
то солнца золотистая пыльца  
их тронет, то погаснут безучастно

за облаком тяжелого свинца —  
ты счастлива, мгновенье — ты несчастна,  
но с прелестью чистой образца

минувшего столетья не напрасно  
тебя сравнив, я славлю дар Творца,  
так зеркала расставившего часто,

что чуду отраженья нет конца,  
твое лицо — везде, оно прекрасно.  
Черты запечатленного лица».

33.

Так он писал. Поэт и есть поэт.  
Романтик. А любовь столь уязвима  
в своей самодостаточности. Нет

огня без разъедающего дыма  
иронии, не так ли? Все же есть.  
Прямая жизнь. Без хитрости. Без грима.

И это возражение и месть  
холодному расчету фантазера,  
который не сумел ее учесть.



Я избежал подобного позора.  
Зато других грехов не перечеть.  
Прощай, роман. Ты в старости опора

и о нахальной молодости весть...  
На эту пошлость, знаете ли, взора  
уже не подниму. Не перечеть.

10.01.89



В рецензии на первую книгу стихов **ВЛАДИМИРА ГАНДЕЛЬСМАНА** («Шум земли», Эрмитаж, 1991) рецензент газеты «Новое русское слово» писала, что теперь «не замечать этого поэта в русской поэзии невозможно». Новая книга Гандельсмана — роман в стихах. Созревание и взросление героя в городе на Неве воссоздано поэтом с той же яркостью, с той же «интенсивностью душевной энергии» (И. Бродский), которые свойственны его стихам, включенным в первую книгу. В соответствии с русской традицией, отступления в романе так увлекательны, что кто-то из читателей может потерять нить главного рассказа. «О чём это?», — спросит он. «О городе, — ответит поэт. — О городе. Ему, / воспетому в стихах неоднократно, / твои терцины...»